В. С. ЯНОВСКІЙ

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ

ПАРИЖСКАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕГІЯ
ПАРИЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Книги того же автора:

Колесо, повѣсть. Издательство «Новые Писатели».

Міръ, романъ. Издательство «Парабола».

Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68

Посвящаю П. Н. Я.

Авторъ.

Я пріѣхала въ Парижъ съ транзитной визой (срокомъ на три недѣли), выданной французскимъ консуломъ въ Ригѣ. Долгіе дни передъ отъѣздомъ я провела въ угарной, утомительной бѣготнѣ изъ учрежденія въ учрежденіе, выправляя свои сирые, эмигрантскіе документы. На вокзалѣ меня никто не провожалъ.

Я стремилась во Францію не потому, что здѣсь меня ждали, или сулили хорошее. Казалось, — хуже не будетъ; а душа моя не хотѣла мириться съ будничнымъ отмираніемъ, еще предчувствуя другія возможности. Каюсь, я намѣревалась до послѣдняго удара сердца, бороться за матерьяльное благополучіе, рисуя себѣ романтическіе турниры современнаго человѣка, въ гущѣ жизни завоевывающаго избранное мѣсто. Въ дѣйствительности это выглядѣло по иному. Да и о какомъ «мѣстѣ», о какой удачѣ, могла мечтать я, — не первой молодости, много читавшая, многое чувствовавшая и такъ таки почти ничему не научившаяся? (Мечтаютъ же часто о выигрышѣ, не обладая лотерейнымъ билетомъ).

Я оставила Латвію, когда «кризисъ» достигъ зенита, когда кругомъ всѣ метались, — точно клопы почувствовавшіе запахъ керосина, — и стонали, въ одинъ голосъ увѣряя другъ друга, что будетъ еще хуже. Такъ сказалъ и Павелъ Кондратьевичъ, тотъ са-

мый, который въ продолженіе шести лѣтъ объяснялся мнѣ въ любви, а потомъ сообщилъ, что женится на дочери попечителя учебнаго округа. Онъ поглядѣлъ на меня добрыми, подслѣповатыми глазами, виновато мигнулъ, снялъ пенснэ, подышалъ на стекла и, протирая ихъ замшей, объяснилъ, какъ теорему:

— Франція богатая страна, просвѣщенная. Тамъ и дышать легче. Тамъ есть все, что и повсюду, плюсъ неограниченныя возможности.

Я послушалась его совѣта. Онъ же мнѣ и помогъ немного деньгами, усиленно рекомендуя беречь — «больное сердце».

Изъ многочисленныхъ впечатлѣній, овладѣвшихъ мною на первыхъ порахъ — по пріѣздѣ, — память сохранила отчетливо только тѣ, что непосредственно были связаны съ полученіемъ Carte d'identité. Какъ ни странно, но проходной дворъ Prefecture de Police произвелъ на меня бо́льшее впечалѣніе, чѣмъ Louvre или Cluny. Сколько силъ растрачено людьми, шагавшими по этимъ свинцовымъ булыжникамъ, мимо казарменныхъ корпусовъ, мимо суровыхъ полицейскихъ, мимо «незамѣтныхъ» господъ въ черномъ. Рѣзко стучало сердце, когда я взбиралась по траурной лѣстницѣ, отдыхая на заплеванныхъ окурками площадкахъ. Комната съ голыми стѣнами, съ деревянными столами и лавками, съ пятнами цвѣта давленаго клопа, такая претяще знакомая, оттого ли что большинство просителей, — выходцы изъ нищихъ, славянскихъ странъ, или оттого, что присутственныя мѣста всего міра схожи?

Меня принялъ толстенькій человѣчекъ, вкрадчивый, добродушный и упрямо-надоѣдливый. Онъ раз-

глядывалъ бумаги, все время неодобрительно покачивая коротко остриженной, крупной для его тѣла, головой, дѣлалъ отмѣтки карандашомъ и повторялъ шопотомъ отмѣченное.

Для доказательства матерьяльной независимости, — «заработка не ищу!» — я принесла два вскрытыхъ «цѣнныхъ пакета», присланныхъ на мое имя милымъ Павломъ Кондратьевичемъ пустыми, но застрахованныхъ каждый въ пятьсотъ франковъ. Чиновникъ долго выяснялъ сколько выходитъ я проживаю въ мѣсяцъ, всегда ли такъ буду получать, да отъ кого, откуда, сколько часовъ ѣзды, — и списывалъ номера пакетовъ. Маленькій, кругленькій, не злой, съ краснымъ носомъ и съ сѣдыми усами, онъ цѣпко присасывался, вывѣдывалъ; каждый мой отвѣтъ, — широкій мазокъ кисти, — встрѣчалъ ровной стѣнкой новыхъ и новыхъ вопросиковъ. Какъ онъ выматывалъ душу. Толстенькій, скрипучій, не злой.

Этотъ человѣкъ мнѣ снился нѣсколько разъ: поднимается по лѣстницѣ, — вотъ вотъ зайдетъ, — медленно, безконечно, шаромъ катясь вверхъ. И въ дѣйствительности онъ меня удостоилъ визитомъ; благодаря предыдущимъ снамъ, я испугалась до тоски, увидавъ его выросшимъ у своего порога.

Навсегда останется неяснымъ, — чего онъ хотѣлъ: по долгу ли службы являлся или ждалъ взятку. Онъ смотрѣлъ на меня, какъ — ну совсѣмъ, — котъ на сало; я было зажала въ рукѣ деньги. Сперва пять, потомъ десять, потомъ пять и десять. Сердце билось, какъ передъ выпускнымъ экзаменомъ. Стало больно и противно. Такъ и не рѣшилась. Слава Богу.

Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, каждое 19-ое число, я поднималась въ узенькую, раздѣленную деревяннымъ барьеромъ на двѣ части, комнату, — возобновлять временное удостовѣреніе. У женщины бываютъ періодическія недомоганія. Судьбѣ угодно было, чтобы эти сроки совпадали. Я шла, едва волоча ноги, въ обычномъ полуневмѣняемомъ состояніи, на арканѣ мрачныхъ предчувствій: — отказъ, высылка?!

Добившись въ первый разъ отсрочки, я со всѣмъ усердіемъ и беззастѣнчивостью иммигранта ушла въ поиски работы: въ кошелькѣ сиротливо чахли послѣдніе нѣсколько десятковъ франковъ.

Когда передъ отъѣздомъ меня спрашивали, какъ я разсчитываю устроиться на далекой чужбинѣ, я объясняла:

— Владѣю слегка французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ; умѣю немного шить и вязать, играю недурно на рояли. Въ крайнемъ случаѣ, буду продавать свои мускулы.

Но очень скоро раскрылось, — увы, — что «нѣмецкій-англійскій» сами по себѣ не представляютъ какой-либо цѣнности: я встрѣчала лингвистовъ по профессіи въ послѣднемъ бездольѣ, или добывавшихъ себѣ хлѣбъ, разными, извилистыми путями. Отвлеченный «физическій трудъ» тоже ускользалъ, распыляясь на — «требуется горничная, умѣющая готовить» (какая-жъ я горничная?) или «опытная Seconde main» (гдѣ-жъ мнѣ?). Предложеній, — главное, — было анекдотически мало, на каждое объявленіе откликались десятки душъ, достойныхъ лучшей участи; мои же возможности были чуть ли не всегда наименшія, благодаря отсутствію какого-то, — необходимаго, —

умѣнія сразу выдѣлиться, привлечь къ себѣ вниманіе.

Если меня почему либо уже отличали, то все же въ концѣ концовъ дѣло разстраивалось: всегда требовалось на одно данное больше, чѣмъ я имѣла. Такъ, въ началѣ меня укоряли: — Если-бъ вы хоть имѣли постоянный видъ. . .А когда получила документъ: — Будь у васъ право работать. . .

А то для полнаго счастья не хватало только телефона; я обезпечивала въ сосѣднемъ кафэ вызовъ (улыбаясь гарсону и дважды въ день выпивая горьчайшій café nature), но все проваливалось въ тартарары изъ за польскаго языка: необходимъ, чтобы успѣшно продавать граммофонные диски.

Плыли сѣрые дни, въ самой ткани своей уже таящіе что-то похожее на гибель. Вотъ снопъ свѣжихъ газетъ: надо успѣть вырѣзать подходящія (красная, черная) предложенія, сгруппировать. Къ тремъ часамъ я становилась въ очередь у витринъ Intransigeant, — читать объявленія: «первой!» On demande. On demande. Два раза шла наниматься въ прислуги. «Требуются молодые люди для интересной и выгодной работы». Вмѣстѣ съ толпой такихъ же безсмертныхъ, я дежурила, — полъ дня, — дожидаясь пріема. Мы узнавали другъ друга уже по звонку: все тѣ же отары кочевали по прихожимъ работодателей, — въ началѣ чуждаясь, робѣя и завидуя; затѣмъ, почти всѣ холодно сдружились, — щедро раздавали совѣты, обмѣнивались адресами, лукавя, стараясь дороже продать. Изрѣдка появлялись новички: русыя польки, румынскія еврейки. А тамъ, иныя исчезали, выходили за предѣлъ нашей досягаемости, — однѣ возвра-

щаясь обратно въ свои нерадостныя орбиты, другія уѣзжая въ провинцію, находя себѣ любовника или кончая самоубійствомъ.

Въ дѣтствѣ я болѣла скарлатиной, поразившей мой сердечный мускулъ. Должно быть поэтому такъ трудно мнѣ, — освѣдомляться у грубыхъ консьержекъ, подниматься на самый верхній этажъ, звонить, дожидаться, отвѣчать правдоподобно на всѣ разспросы и выслушавъ отказъ — или жуликоватое предложеніе шустрыхъ, упитанныхъ господъ, — возвращаться, проклиная себя, которую любой хамъ можетъ безнаказанно кликнуть, заставить промаяться три часа, изъѣздить послѣдніе полтора франка. Но видитъ Богъ: эту тяжесть удесятеряли сиротливо, загнанно озирающіеся «конкуренты», — анемичныя, плохо или слишкомъ ярко одѣтыя женщины, голодные юноши съ надеждой впивающіеся злыми зрачками въ двери и тотчасъ же отворачивающіеся, видя, что входитъ такой же немощный гость.

Какъ я молилась и страдала за нихъ: какимъ чернымъ цвѣткомъ мнилась жизнь, дѣлающая насъ врагами. Но краснѣя, со слезами возмущенія, я, не уступая мѣста, проталкивалась впередъ — чтобы лучше разслышать очередное предложеніе: собирать объявленія для календаря, который никогда не выйдетъ въ свѣтъ, или лѣчить отъ венерическихъ болѣзней по перепискѣ. Сколько разъ мы выходили, гнѣвно ропща, сѣтуя и удивляясь, — отчего не существуетъ надзора за всѣми, что такъ зло измываются надъ нами?

Мы шли, гадая о близкомъ будущемъ, а въ самой глубинѣ глубинъ, въ уступахъ, на карнизахъ сердца шевелилось: какъ хорошо, не приняли, не впрягли въ

чуждый трудъ, можно значитъ еще гулять по своей волѣ, дышать и оглядываться.

Но на завтра печать приносила свѣжія страницы, — мелко на мелко, — шрифта и начинался новый кругъ, — все тѣснѣе, — унизительный, нелегкій и убогій.

Такъ наконецъ, — день за днемъ, — въ одинъ осенній вечеръ я очутилась со сверткомъ подъ мышкой, безъ крова, на улицахъ Парижа, по новому для меня зашумѣвшему.

Въ обычный часъ, вернувшись въ отель, я не нашла ключа отъ номера на своемъ мѣстѣ. Съ улыбкой человѣка, недостойнаго прощенія, я вошла въ bureau: уже третью недѣлю оттягивала взносъ платы («завтра», «въ субботу», «въ слѣдующую навѣрное»). Какъ это ужасно, думаю, для всѣхъ. Но есть люди грубѣе меня, ловче, или наоборотъ смиреннѣе, имъ не тяжело прибѣгнуть къ чужой милости; къ милости старѣющей красавицы, хозяйки, держащей въ трепетѣ весь отель — отъ грязной стряпухи до черноброваго, чернокудраго, взятаго съ улицы итальянца, своего мужа.

Я тихо попросила ключъ. Комната № 28. Итальянецъ нырнулъ подъ портьеру. Какъ я молилась, чтобы все обошлось, чтобы грозной патронши не оказалось дома. Она вбѣжала разъяренная. Я не плачу за комнату и еще рѣшаюсь водить къ себѣ мужчинъ! Эта комната не для двоихъ, для двоихъ цѣна другая! Сейчасъ же платить, или выѣзжать!

— Madame— сказала я запинаясь, готовая разревѣться и пугаясь, что она убѣжитъ, не дослушавъ меня. — Вы ошибаетесь. Я 28 номеръ. Въ чемъ дѣло? Я заплачу, вотъ въ субботу, а мужчинъ я не привожу, ко мнѣ не ходятъ мужчины.

Покидающаго нашъ отель на разсвѣтѣ незнакомца

спросили, гдѣ онъ провелъ ночь; тотъ отвѣтилъ: «въ 28-мъ».

Я тупо защищалась какъ въ полуснѣ, смертельно раненая обидой. Хозяйкѣ, себѣ, всему свѣту мстила я, когда чувственно соея свое отчаяніе, шептала: «Ну еще, бей меня, выволоки за волосы. Пускай хуже; еще, еще»... Сладострастіе горя; мазохизмъ нищеты.

Итальянецъ видимо былъ на моей сторонѣ, онъ было попытался сказать что-то, но оборвалъ подъ взглядомъ яростныхъ, надменно-красивыхъ очей своей полусумасшедшей жены.

Я не знала, куда потащиться съ тяжелымъ чемоданомъ, набитымъ (услужливымъ Павломъ Кондратьевичемъ) всѣмъ необходимымъ, вплоть до пуховой подушки. Помогла нѣсколько та-же хозяйка: вещи она задержитъ пока не расплачусь. И хотя въ свое время, предвидя такую возможность, я освѣдомилась у знающихъ людей и удостовѣрилась, что этого она не вправѣ дѣлать, я не возражала, не спорила. Во мнѣ что-то согнулось. Воля къ побѣдѣ, столь необходимая, чтобы побѣждать, чтобы жить, стерлась во мнѣ, растопилась на время. Огромная пустота, покой усталости опустились на душу. Хотѣлось только скорѣе скрыться, уйти подальше отъ этого злого голоса. Она давила меня своимъ враждебнымъ чужимъ языкомъ, хорошо откормленнымъ тѣломъ, запахомъ крѣпкихъ духовъ. Убѣжать, спрятаться; тишины!

Собравъ нѣсколько самыхъ необходимыхъ вещей, я кивнула пышноголовому итальянцу и протрусила, къ выходу, мимо устрашенно шарахавшихся, подъ окриками патронши, горничныхъ, которыя здѣсь смѣнялись еженедѣльно.

Помню ноющую, терпкую боль, на мгновеніе, — всю меня пронзившую, когда за спиной мягко стукнула стеклянная дверь съ карточкой «essuyez vos pieds, s. v. p.» Кто, одинокій, не лишался крова, не пойметъ.

Мнѣ страстно захотѣлось курить: этому я научилась въ долгіе часы и дни ожиданія. Я купила пакетикъ въ пять штукъ. «A douze sous» — сиротливо прозвучалъ мой голосъ.

Затянулась дешевой папиросой и вдругъ съ взметнувшейся, облегчающей, ранящей силой ощутила кругомъ себя и холодный вѣтеръ вселенной, и тяжелую землю съ бѣгущимъ по ней враждебнымъ людомъ, и небо въ сѣрыхъ, пятнистыхъ, жесткихъ складкахъ. Чудовищный городъ, ревущій, давящій, глотающій, плывущій въ своемъ руслѣ; и себя, одинокую душу, затерянную, посѣянную въ мѣсивѣ; одна, одна. Я почувствовала, что это не случайно, что въ этомъ есть смыслъ, и какъ страхъ мой великъ и отчаяніе полно, такъ и цѣль, къ которой меня ведетъ, должна быть значительной. Но это продолжалось всего секунду, — пронзительное озареніе, поднявшееся изъ глубинъ страха и униженія: вспыхнуло и заглохло. Въ моемъ карманѣ десять франковъ; тротуары жестки.

Я проходила съ папиросой въ зубахъ мимо постового агента; онъ взглянулъ на меня равнодушными, сѣрыми глазами знающаго, бывалаго служаки. Мнѣ показалось: онъ прочелъ все мое прошлое, — во всякомъ случаѣ настоящее — и поставилъ прогнозъ будущаго. Стыдливо прижавъ локтемъ узелокъ, я уторопила шагъ, стремясь поскорѣе скрыться отъ этихъ вѣщихъ глазъ.

Для меня наступили дни, длящіеся вѣка, полные созерцательнаго бездѣлія, полусна въ скверахъ, озаренныхъ сіяніемъ осенняго солнца и полногрудыхъ, нѣжно яркихъ клумбъ; звонко подъ ухомъ кричали дѣти и разслабленно увѣщевали ихъ няньки. Газета, оставленная небрежнымъ читателемъ благодарно подбиралась: днемъ — читать, ночью — подстелить. Жизнь билась въ своемъ гнѣздѣ; телеграфные провода задыхались отъ нетерпѣнія. По Монголіи бьютъ японскія пушки; долларъ и фунтъ падаютъ; подъ зловѣщій звонъ расползаются имперіи. Какъ это далеко и ненужно. Окурки папиросъ наполняютъ сердце благодарностью; я наконецъ поняла преимущество французскихъ передъ нашими, съ картонными мундштуками.

Я дремала на широкихъ скамьяхъ Gard de l'Est, подъ яростный грохотъ экспрессовъ. Кто-то уѣзжалъ, пріѣзжалъ. Счастливцевъ встрѣчали цвѣтами и поцѣлуями; аттаковали стаей вопросовъ, взволновенные спѣшили къ выходу. Мнѣ некуда было нтти.

Когда приближался контролеръ или полицейскій, я принимала незавнснмо-разсѣянный видъ и тогда казалось, что я уже измѣрила собой всю тушу земного горя, предѣлъ лишеній достигнутъ. Но и въ этомъ, какъ мнѣ открылось впослѣдствіи, я ошибалась.

Я ночевала, пока водились мелкія деньги, въ пріютѣ арміи спасенія, въ компаніи старыхъ, лживыхъ, кашляющихъ вѣдьмъ. Потомъ пробовала бродить до разсвѣта по Центральному рынку, отсыпаясь днемъ на стулѣ въ монастырской тиши библіотеки Святой Женевьевы. Но жажда сна и «своего угла» согнала меня внизъ, на набережную Сены, гдѣ, — (скрывшись отъ взоровъ полицейскихъ), подъ сѣнью гранитныхъ мостовъ, слушая ворожащій плескъ воды, гулъ запоздалыхъ поѣздовъ подземной желѣзной дороги и шипѣніе пара выпускаемаго въ рѣшетчатыя отдушины, — дремали въ свалку бродяги, нищенки и безработные.

Только начало страшно; я спустилась внизъ по широкой каменной лѣстницѣ съ чувствомъ, что никогда уже, никогда не подняться — наверхъ.

Подстеливъ собранные за день «Ami du Peuple», я прикурнула невдалекѣ отъ группы аборигеновъ. Имъ было легче: сообща, не чуждаясь другъ друга. Я видѣла мужчинъ и женщинъ въ лохмотьяхъ, спавшихъ тѣсно прижавшись другъ къ другу, жадно сохраняя общее тепло. Даже тамъ я была отщепенцемъ.

Объ этомъ и еще о многомъ я думала, лежа подъ тяжелыми мостами. Возможно, что мои мысли и не были сами по себѣ значительны, но ими вѣдь рѣшалась моя судьба. Часами, не шевелясь, я прислушивалась къ безцѣльному бѣгу Сены. Рѣка была черна, отъ нея вѣяло стужей и омутомъ и сыростью, вѣчной жалобой неприкаянной водной души. Помимо другихъ соображеній, мнѣ бы нелегко было отважиться погрузиться въ такую ледяную, чуждую стихію.

Страшила кромѣ того не самая смерть, а то, что

2*

послѣ. Я не могла примириться съ вѣщей мыслью, что меня, голую, станутъ осматривать, будутъ прикасаться, рыться въ моихъ бумагахъ; я стѣснялась и ужасалась той возни, которая неминуемо должна была возникнуть около моего тѣла.

Жалобно пищали хищные косяки крысъ. На днѣ рѣки стояли мистическія свѣчи малиновыхъ фонарей мостовъ, рѣзко гудѣло запоздалое такси и тогда по волнамъ, пересѣкая рѣку, стремительно бѣжалъ его отраженный огонекъ. Если бы всегда ночь! Если бъ не всходило больше солнце. День это жизнь. День это борьба; плевки, издѣвательства и преслѣдованія. Въ темнотѣ всѣ равны; во снѣ судьба всѣхъ одинакова. Если бъ всегда ночь и лежать безъ тревоги. Если бъ умереть въ темнотѣ.

Ненавистный, требующій усилій, надвигался разсвѣтъ.

Въ кафэ бродягъ у стойки можно съѣсть принесенные съ собой припасы; пока я ѣмъ, кто-то другой отпиваетъ изъ моего стакана. Иногда въ Центральномъ рынкѣ, ночью, можно получить за франкъ изумительное блюдо: «arlequin» — смѣсь остатковъ ѣды большихъ ресторановъ. Тамъ, рядомъ съ недоглоданнымъ куринымъ крылышкомъ, плаваетъ сардинка, утыкаясь въ компотную гущу, и все это растворяетъ смѣсь супа, пива и вина.

Я старалась поддерживать приличный видъ; пыталась умываться, — тутъ же въ рѣкѣ; но отъ холоднаго вѣтра кожа потрескалась до ранъ. Не причесываясь, не снимая платья, не мѣняя бѣлья, я расхаживала негнущейся, одеревянѣлой походкой, водя плечами, ер-

зая и почесываясь. Когда на одиннадцатый день представилась возможность спать раздѣвшись, я увидѣла, что все мое тѣло покрыто густой, розовой сыпью.

Рѣшилась попросить милостыню, — на девятый день я осталась безъ одного су; съ ночи еще ничего не ѣла. Я ощущала первый приступъ, требовательной, болѣзненной необходимости подкрѣпиться. Онъ превращаетъ въ скота. Я шла, плевала подъ ноги прохожимъ и вслухъ бранилась. «Вѣдь пристаютъ же иногда мужчины. Да еще въ Парижѣ. Павелъ Кондратьевичъ потратилъ много часовъ, рисуя эту опасность. Я потеряла образъ женщины. Подъ мостами иногда случалось, но это другое. Какъ завидуешь, однако, тѣмъ, которыя умѣютъ устраиваться съ комфортомъ». День плылъ въ чаду, мглистый, холодный, скованный. Смеркалось. Я брела по одной изъ безлюдныхъ улочекъ Passy. Навстрѣчу показалась дама въ мѣхахъ, она вела за руку мальчика, одѣтаго матросомъ.

Не знаю, какая внутренняя, безсознательная подготовка предшествовала этому, но я шагнула имъ навстрѣчу и отнюдь не удивляясь себѣ протянула выразительно руку. Женщина растерянно меня оглянула, остановилась и раскрыла сумку. Мальчикъ капризно потянулся къ ея рукамъ. Женщина достала монету и улыбаясь материнской улыбкой передала ее сыну. Мальчикъ, задравъ голову, со страхомъ, замирая и колеблясь, медленно, медленно подступилъ ко мнѣ. Я застыла костякомъ. Онъ протянулъ ручеику, но не рѣшился дотронуться до моей — выронилъ на тротуаръ монету и отпрянулъ назадъ. Эту сцену видѣлъ человѣкъ съ металлическимъ, полымъ шестомъ, зажигающій газовые фонари. Я стала обладательницей 25 с.

«Petit pain» стоилъ 35 с. Я отдыхала часъ. Снова рѣшилась. Шесть разъ протягивала я руку. Когда-то я удерживала себя отъ желанія подать что-нибудь каждой встрѣчной попрошайкѣ соображеніемъ, что «у ней въ чулкѣ тысячи». Можетъ быть, такъ же думали дамы, къ которымъ я обращалась. Къ мужчинамъ я не пробовала подойти.

Ночь была особенно жестокой. Подъ сосѣднимъ мостомъ кричали. Полиція спускалась внизъ. Разсвѣтъ я встрѣтила въ Halles. Удалось подобрать нѣсколько морковокъ. Проглотила не разжевавъ. Сразу же заболѣлъ животъ. И тутъ вдругъ въ моемъ затуманенномъ сознаніи, какъ рыба въ акваріумѣ, мелькнули лицо и голосъ одной знакомой курсистки. Она мнѣ чужая. Но вѣдь мы всѣ — люди. Ну посижу у нея. Къ тому же, могло прійти письмо. Потерявъ отель, я сообщила Павлу Кондратьевичу ея адресъ, прося помочь. Конечно, я ее не обезпокою въ такую рань. Потерплю еще немного... Увидѣвъ хоть какую-то цѣль предъ собой, я немного окрѣпла. Не помню, гдѣ я провела эти нѣсколько часовъ парижскаго, почти уже зимняго разсвѣта. Я нашла себя шагающей по мостовой, размахивающей руками и вслухъ бранящейся: издѣвалась надъ собой, вспоминала нѣкоторые эпизоды изъ своей юности, полной обычныхъ мечтаній, и цинично высмѣивала ихъ. Въ десятомъ часу добралась до отеля курсистки на rue Monge. Разумѣется она уже вышла. Когда обычно возвращается? Послѣ обѣда, въ часъ-два. Я направилась къ бульвару Сенъ-Мишель. Можетъ я ее встрѣчу здѣсь, въ центрѣ студенческой жизни. Кругомъ мелькала, сновала молодежь въ беретахъ, съ папками, портфелями, тетрадями. Слыша-

лась оживленная, разноязычная рѣчь. Въ Café de la Sorbonne брали съ бою тартины съ масломъ. Подъ желтымъ тентомъ сидѣли напомаженные брюнеты, хромающія дѣвчонки улыбались имъ, проходя мимо.

Я разгуливала отъ улицы Суффло до площади Св. Михаила и обратно, вверхъ къ Gare du Luxembourg. Около ярмарочныхъ рулетокъ уже толпились игроки, любители. Раскрашенныя женщины и полногрудые мужчины безъ воротничковъ собирали ставки, безразлично-зазывающе выкрикивая номера. Призрачная жизнь текла, полнозвучно ворочаясь въ своихъ обычныхъ берегахъ. Я чувствовала колющую боль. Слѣва. Мое сердце. Оно болѣло насквозь, спереди и въ плечахъ. Весь мѣшокъ. И справа, подъ ключицей — должно быть аорта. Я когда-то брала у Павла Кондратьевича популярныя книги по медицинѣ, заучивала термины. Я тогда этимъ очень гордилась.

Ноги мои подкашивались; я скрючилась влѣво — такъ легче дышать; между глазами и предметами то и дѣло взлетали свѣтлые, пустые, маленькіе диски. Я думала приблизительно такъ:

Если бъ упасть, если бъ упасть вотъ здѣсь на колѣни, возвести руки вверхъ и закричать: о горячемъ супѣ, о чистой постели, о правѣ на осмысленную жизнь. . . неужели, неужели во всемъ этомъ мѣсивѣ столицы не найдется никого, кто бы помогъ, сразу, до конца? Въ Парижѣ представлены всѣ расы. Здѣсь пересѣкаются нити всего міра. Неужто же по всей землѣ не найти человѣка, который безъ словъ взялъ

бы меня ласково за руку, увлекъ бы куда нибудь, спряталъ, привелъ въ себя?

И помню, тогда же, у меня мелькалъ отвѣтъ, что это неправда, люди не столь сѣры, многіе навѣрное бы откликнулись; но для этого нужны большая чистота и мужество: мое сердце еще до многаго не доросло. Чѣмъ больше горя, тѣмъ больше гнѣвомъ исполнялось оно, оскорбленной гордостью, ужаленнымъ самолюбіемъ, — словно кто-то опредѣленный оттолкнулъ мою, довѣрчиво протянутую руку.

Я ѣхала въ Парижъ, какъ на послѣдній смотръ. Я мысленно подсчитывала свои силы: молода, не уродъ, во мнѣ русская кровь, закаленная «Анной Карениной» и Софіей Перовской. Я жажду жертвеннаго подвига, готова любить, сумѣю понять. . . неужели же все это ни къ чему, никому ни къ чему? Самыми большими недостатками моего характера было, — что я не глупа, самостоятельна, не лѣнтяйка, однимъ словомъ, именно тѣ свойства, которыя можно счесть за положительныя; благодаря имъ, я считала себя достойной лучшей участи и, не находя ея, чѣмъ бы усумниться въ правильности всего моего устремленія, только звѣрѣла, обиженно томясь, топчась на одномъ мѣстѣ.

Курсистка меня узнала. Я боялась, что она постыдится раскланяться со мной (вотъ, какой я была). Она меня давно ищетъ. Вѣдь нельзя же такъ. Идемъ къ ней. Напьемся чаю. Она мнѣ представила своего спутника. Невзрачный, вихрастый, угловатый разночинецъ — Онучинъ.

Отъ Павла Кондратьевича писемъ нѣтъ. Курсистка попробовала задать нѣсколько обычныхъ при встрѣчѣ вопросовъ, но тотчасъ-же осѣклась. Мы поднялись

въ номеръ. Безъ лишнихъ словъ она зажгла спиртовку. Снять пальто она не предложила, догадавшись вѣроятно, что я постѣсняюсь. Оиучинъ, вздорный 30-ти лѣтній юноша, рѣшилъ меня занимать. Онъ разсказалъ о себѣ всю подноготную. Онъ бесѣдовалъ со мною, какъ со старымъ другомъ (позже я узнала, что говоритъ онъ искренно и съ интересомъ только съ людьми мало ему знакомыми). Онъ поэтъ, художникъ и спиритуалистъ. Онъ не любитъ женщинъ, такъ какъ онѣ вносятъ специфическій духъ. Его двое пріятелей дружили между собой; то были интересные и достойные люди; одинъ изъ нихъ изнасиловалъ даму другого, — съ тѣхъ поръ они поссорились, изъ за такого въ сущности пустяка. Онучинъ бы поступилъ иначе. Вотъ что такое женщина. Онъ живетъ съ одной, но онъ ей всегда повторяетъ, что не любитъ ее.

Хозяйка поставила предо мною боль, плеснула чаю, дополнила молокомъ, посластила и отвернулась. Со спокойствіемъ эпилептика, отмѣчающаго нѣкоторые симптомы быть можетъ надвигающагося припадка, я медленно нагнулась къ чашѣ и отпила.

Первый глотокъ; горячаго; сладкаго; послѣ двухъ дней вынужденнаго поста; кто забудетъ тебя? Нѣжный огонь въ груди. Острый коктэйль. Сладостный восторгъ. Высоко художественныя впечатлѣнія. Хочется то вскрикнуть. То радостно завизжать; плакать всѣмъ своимъ истощеннымъ естествомъ. Вскочить, опрокинуть столъ, смести все, разорвать, пророчески ругая хозяевъ и угрожая имъ. Ощущеніе неземной легкости: вотъ сейчасъ взлечу?! А трудно подняться, ноги не держатъ, упаду? Чувственное наслажденіе отрѣшенности. Страхъ: невозможно ручаться за свои

поступки; быть можетъ вскрикну, быть можетъ расплачусь. Первый глотокъ; горячаго; сладкаго; послѣ двухъ дней вынужденнаго поста; кто забудетъ тебя?

— Кушайте, пожалуйста, ѣшьте круассаны, — пригласила хозяйка.

— Хорошо, я возьму, — охотно согласился Онучинъ, не переставая насъ въ чемъ то убѣждать.

— Спасибо, — отозвалась я и протянула сведенную корчей руку къ подносу съ тѣмъ характернымъ, жалостнымъ движеніемъ, съ какимъ мнительный гость тянется черезъ многолюдный столъ къ пирожному.

Я откусила тѣсто съ нѣкоторымъ страхомъ: для меня, въ ту минуту, глотать не было простымъ, обычнымъ дѣйствіемъ, — я боялась чуть ли не какого-то припадка; и въ то же время было грустно, отъ предчувствія, что вотъ, сейчасъ придется разстаться съ этимъ ощущеніемъ неземной, ангельской легкости поста.

Я съѣла второй круассанъ, отъ третьяго отказалась, сдержанно поблагодаривъ.

Попрощалась съ курсисткой. Она мнѣ ничѣмъ не можетъ помочь. Просила заходить. Дала десять франковъ, — незамѣтно сунула ихъ. Мы обѣ покраснѣли и на минуту возненавидѣли другъ друга. За мной увязался Онучинъ. На него мое общество дѣйствовало, какъ онъ выражался, благотворно. Онъ болталъ, болталъ безъ умолку. Читалъ стихи. Спрашивалъ о Богѣ, о Блокѣ. И не дослушавъ, продолжалъ трещать. Онъ освѣдомился:

— Вы куда, можно васъ проводить?

И вдругъ я, неизвѣстно чѣмъ подготовленная къ этому, возбужденно, однако безо всякой слезливости, начала ему повѣствовать о послѣднихъ одиннадцати днях моей жизни. Я закончила, разсказавъ, какъ однажды, въ сумерки, спряталась подъ кустами городского сада; какъ я была смертельно испугана кравшимися въ темнотѣ къ пруду людьми, — то оказались сторожа, ночью ловившіе муниципальную рыбу; какъ они меня обнаружили, но не рѣшились оштрафовать, опасаясь доноса о ихъ воровствѣ.

Я прервала себя, когда почувствовала готовность разревѣться. Къ счастью Онучинъ былъ увлеченъ; весь загорѣлся. Въ немъ было много мальчишескаго, которое сейчасъ мнѣ оказалось на руку. Вдохновился: онъ меня устроитъ; непремѣнно. Ахъ, какая я должно быть сильная и интересная.

— Поймите, — объяснялъ горячо. — Мы здѣсь всѣ изныdаемъ безъ общества русскихъ дѣвушекъ! Этого тихаго, благостнаго вліянія нѣжныхъ, родныхъ существъ мы лишены! Эмиграція это эвакуированная армія. Нѣкоторые вывезли своихъ женъ! Но дѣвушекъ, нашихъ губернскихъ барышень, нѣтъ. Какія были, тѣ растлились. Здѣсь нѣтъ больше дѣвушекъ. И благодаря этому, именно этому, мы теряемъ типичныя особенности нашей расы! Женское общество сильнѣе климата. И вотъ вы русская, подлиннѣйшая, по крови и кости, да вѣдь здѣсь вы пойдете на вѣсъ золота! Ахъ, какъ я счастливъ!

Общество нашей знакомой, курсистки, для него не представляетъ интереса:

— Либо она не русская, либо — не дѣвушка, — безапелляціонно рѣшалъ Онучинъ.

Я старалась умѣрить лихорадку этого легко возбуждающагося, немолодого мальчика, по опыту догадываясь, что если весь его не особенно большой запасъ предпріимчивости уйдетъ на декламацію, то услужить онъ уже не сможетъ или не захочетъ. Кое какъ удалось перевести бесѣду на дѣловые рельсы.

— Вы умѣете рисовать? — спросилъ онъ.

— Умѣю.

— А обводить?

Я не поняла. Онъ объяснилъ.

— Нѣтъ.

— А вы способная?

— Да. Да! — не я, а все во мнѣ вскрикнуло.

— Идемте, я попытаюсь, — озабоченно рѣшилъ Онучинъ, уже потускнѣвъ.

Мы предстали передъ бѣлокурымъ, бѣлобрысымъ человѣкомъ съ выправкой военнаго. То былъ Санитаровъ, оффиціальный «контръ-мэтръ» (фактическимъ былъ все тотъ же Онучинъ). Хозяина, котораго всѣ звали «Іудушка», не было и должно быть поэтому такъ легко совершился мой переходъ за «китайскую стѣну»: меня приняли; какъ ни злостны казались предыдущіе пораженія, все же, моя теперешняя удача, — такъ всегда мнится, — была еще чудеснѣй по легкости и быстротѣ случившагося. Мнѣ положили три франка въ часъ, предупредивъ, что остальное зависитъ отъ рвенія и отъ «сезона»; до первой получки позволили ночевать въ «конторѣ». Именно когда вопросъ о кровѣ разрѣшился, силы меня оставили: я гнулась во всѣ стороны, — связки словно размякли, — я мечтала, подобно улиткѣ, обрѣсти вдругъ твердый футляръ-опору. Въ клѣтушкѣ, гдѣ мнѣ предстоя-

ло спать, ютилась дряхлая, вѣроятно блохливая тахта; полъ ступеньками; окна не было. Съ какимъ сложнымъ чувствомъ я нѣсколько разъ ходила смотрѣть на свое ложе. Такъ новобрачная заглядываетъ въ спальную.

Я долго мылась передъ сномъ: и это мнѣ доставило такое плотское, такое острое наслажденіе, что даже стало совѣстно. Мое тѣло было покрыто равномѣрной, крупной сыпью. Фіолетово-красные пятачки. Отъ воды они поблѣднѣли. Я смѣнила бѣлье и улеглась съ чувствомъ жаждущаго, погорѣльца, припадающаго къ источнику. Мнѣ приснилось, что бѣлокрылая я летаю, — въ обществѣ забытыхъ, ушедшихъ, потерянныхъ друзей. Я стонала отъ радости, заливаясь счастливыми слезами; почесывалась.

Ателье, куда я попала, было русское, то-есть со странностями. Хозяинъ, въ прошломъ генералъ, женился на француженкѣ со «ста тысячами», которой принадлежалъ модный магазинъ, — haute couture. Онъ рѣшилъ между прочимъ затѣять декоративную мастерскую. Его убѣдили, что денегъ на это дѣло не требуется.

— Іудушка пріѣхалъ, — громкимъ шепотомъ докладывалъ «паралитикъ», спеціалистъ по бархатнымъ подушкамъ, сѣдой, бритый холостякъ, скрюченный болѣзнями, на подгибающихся, ревматическихъ колѣнкахъ. За дверью слышались скребки, постукиванія, стоны. То бывшій генералъ счищалъ съ двери краски. Каждый день по этому поводу происходилъ разговоръ:

— Опять загрязнили дверь?

— Это не грязь, а охра! — объяснялъ паралитикъ.

— Зачѣмъ же кляксать двери? Вѣдь жалко, — говорилъ хозяинъ.

— Патронъ, — оглушалъ его Онучинъ: — Кнопокъ нѣтъ.

Генералъ злобно насъ оглядывалъ, для безопасности отступалъ въ уголъ и жалобно повторялъ:

— Кнопокъ?

— Да. Кнопокъ.

Генералъ опускалъ глаза на засоренный полъ, затѣмъ съ неожиданной легкостью подскочивъ къ столу паралитика, нагибался и, подбирая что-то, радостно возвѣщалъ:

— А вотъ, вотъ же кнопки.

— Такъ онѣ согнутыя! — обижался «паралитикъ».

— А вотъ сейчасъ мы ее отогнемъ. Отогнемъ! — возбужденно обѣщалъ генералъ. И схвативъ плоскогубцы, исчезалъ въ «конторѣ». Кнопками онъ занимался до самаго вечера.

Онучинъ съ хохломъ Прокопенко насмѣшливо фыркали, что то крася. Волоподобный «Колъ», бывшій судейскій, все искалъ камень для точенія пошуарныхъ ножей. Ателье медленно съѣдало сто тысячъ генеральши.

Въ субботу утромъ, Санитаровъ, «контръ-мэтръ» и главный представитель фирмы, приносилъ деньги. Но платили только послѣ полудня, даже если работы и не было.

— Позвольте, — горячился гоноровый паралитикъ. — Заказа нѣтъ вѣдь! Чѣмъ бы по домамъ разойтись, извольте ждать вашихъ паршивыхъ грошей.

— Въ два часа, — отчеканивалъ генералъ. — Какъ въ большихъ мезонахъ.

Платили въ три. Часъ уходилъ на споръ «паралитика» съ патрономъ. Мѣсяца два тому назадъ онъ вырѣзалъ пошуаръ для рождественскихъ дѣдовъ. По какимъ-то соображеніямъ, генералъ рѣшилъ за него не платить. Вотъ объ этомъ «историческомъ» — какъ его звали — долгѣ пререкались каждую субботу.

— Эти каракатицы насъ всѣхъ со свѣту сживутъ! — негодовалъ Онучинъ.

Послѣ ухода патрона всѣ оживлялись. Небрежно заканчивали работу, какая была. Къ часамъ пяти являлись агрономъ Кишкинъ и поэтъ Вайсъ. Агрономъ приносилъ вино, дешевый камамбертъ, прогнившіе мандарины и еще какую нибудь тухлую «экзотику». Прокопенко радушно кланялся на всѣ стороны и мылъ стаканы. Пили, сразу добрѣя и веселѣя. Кишкинъ просилъ Зою, по вечерамъ подрубавшую платки, бросить иглу: онъ платитъ ей за часы отдыха. Прокопенко поминутно убѣгалъ докупать вино. Пили, беззлобно шумя и гогоча. Поэтъ Вайсъ увѣрялъ, что душа человѣка безсмертна. Онучинъ разсказывалъ о тайновѣдчествѣ Рудольфа Штейнера, основоположника антропрософіи.

— Почему вы такъ думаете? — чокался Кишкинъ то съ Вайсомъ, то съ Онучинымъ. — Меня интересуетъ, изъ какихъ мотивовъ вы исходите?!

Потомъ агрономъ сидѣлъ на колѣняхъ огромнаго, какъ волъ, «судейца». «Судеецъ», пѣлъ совершенно стальнымъ голосомъ «реве тай стогне Дніпръ широки. . .», время отъ времени цѣловалъ Кишкина въ лысую макушку и уговаривалъ его жениться, пока не поздно:

— Жениться. Жениться на вдовѣ. На вдовѣ съ ребенкомъ. Крѣпче будетъ.

Кишкинъ приподымалъ руками — словно кружевную юбченку — полы своего смятаго пиджачка, изображая кафе-шантанную пѣвичку. И дрыгая въ воздухѣ одной ногой, шепелявилъ: «мой милый неврастеникъ, поменьше словъ, поменьше словъ, побольше денегъ; трамъ, трамъ, трамъ тамъ тамъ», — пускался онъ стрекозой по ателье.

Зоя спала безмятежнымъ сномъ за счетъ агронома. Онъ ежеминутно подбѣгалъ къ ней, заботливо укрывалъ, съ чувствомъ хозяина; неловко, боязливо гладилъ. Лысый, добрый, пьяный.

Такъ моя жизнь казалось складывалась не хуже, чѣмъ у большинства, но отъ этого мнѣ было не легче.

Когда нечего ѣсть, ищешь только хлѣба, но получивъ его, вздыхаешь: этимъ нельзя жить. Я дѣлала нехорошую, томительную, и главное, нелюбимую работу. Послѣ первой получки, мнѣ пришлось снять комнату, и хотя я взяла самое неприхотливое: на окраинѣ, безъ отопленія, (Онучинъ мнѣ рекомендовалъ отель на Porte de Versailles — всѣ въ одинъ голосъ увѣряли, что такъ дешевле) — и все же это оттяготило мой и безъ того нищенскій бюджетъ.

Въ будни, чтобы поспѣть во время, я вставала очень рано. Въ нетопленной комнатѣ было неуютно, какъ въ мертвецкой. Наскоро глотала чай изъ того же стакана, изъ котораго только что полоскала ротъ, и тщательно заперевъ дверь, бѣжала съ лѣстницы. Хотя времени было достаточно, но подхваченная грозно катящей ко входу въ метро толпой, я тоже пускалась унизительной рысью, спѣша за билетомъ «allez-retour». Вагоны подавались пустые, наполняясь въ пути. На Montparnasse я пересаживалась, — вмѣстѣ съ густымъ стадомъ сгибающихся отъ нетерпѣнія людей. Поѣздъ брался съ бою. Злобно визжали усатыя женщины; угрюмо, нехотя толкались мужчины не отрывая глазъ отъ газетъ. Вагоны плавно скользили въ туннель и казалось, что ихъ деревянныя стѣнки не выдержатъ этой духоты, тѣсноты и подъ напоромъ тяжко бьющихъ человѣческихъ сердецъ, — разорвут-

ся. На станціяхъ мелькали истошныя рекламы: «смерть мышамъ», печи «Salamandre» и тупыми гвоздями кололъ мозги: Dubonnet, Dubonnet. На узловыхъ остановкахъ мѣнялась часть пассажировъ. Входили новые: на Odeon — студенты, на Halles — пахнущіе овощами торговцы съ мѣшками, корзинами, ящиками; на Reaumur-Sebastopol, — насурмленныя мидинетки, приказчицы модныхъ магазиновъ. Бывалые ѣздоки упрямо лавировали поближе къ концу вагона, гдѣ раньше могли освободиться мѣста. И снова плыли туго набитые плоты, закупоренныя бутылки вагоновъ; а подземелье, какъ гадъ, высасывало — минута за минутой — годы, годы неповторимой жизни.

На Gare du Nord, я дергалась, пробиваясь къ выходу; топча однихъ и толкаемая другими, семенила вприпрыжку наверхъ, опасливо переступая черезъ ступеньку, надъ которой висѣла таблица: «au dela de cette limite les billets ne sont plus valables.» Иногда случалось спуститься въ метро при солнцѣ, а выходить въ дождь, или наоборотъ. И это поражало, привлекало вниманіе, пугало. Но мелкая сутолока существованія не позволяла, однако, остановиться мысленно, додумать сразу, до конца, — что таится за этимъ?

Я работала отъ девяти до восьми вечера съ обѣденнымъ перерывомъ: обводила «клеемъ» метровые квадраты крэпъ-де-шина. Пространства, обведенныя непроницаемой массой, закрашивали, въ разные цвѣта, уже другіе. Надо было отъ руки вести прямыя линіи, идеальные круги, стрѣльчатые зигзаги. «Chine» лежалъ поверхъ кальки и нарисованный на ней узоръ просвѣчивалъ траурно-мертвенно. Эта работа мнѣ ка-

залась подобной пляскѣ на канатѣ: до послѣдней минуты нельзя быть увѣренной въ благополучномъ исходѣ, — несвоевременная дрожь фаланги и все испорчено; надо чистить бензиномъ, или смѣсью эфира съ нашатыремъ, надышавшись которой, испытываешь боль въ правомъ мозговомъ полушаріи, — тошнитъ и позываетъ ко рвотѣ. За время «чистки» мнѣ не платили; иногда кляксы уже нельзя было вытравить, тогда за метръ шелка мнѣ вычитали полъ рабочаго дня. Мой нищенскій заработокъ съѣдали эти порчи.

Въ восьмомъ часу я уходила, унося съ собой запахъ бензина. Дулъ ламаншскій вѣтеръ. Автобусы мчались, гудя, какъ разъяренные шмели. Группы пѣшеходовъ безсильно обступали переполненные трамваи. Звонили у входа въ «cinema». Съѣстныя лавки отпускали голодной толпѣ куски подешевле, получше. Куда спѣшить? День, слава Богу, на исходѣ. Дома меня никто не ждетъ. Но такова власть насыщеннаго нетерпѣніемъ города; онъ захватываетъ въ свои поршни и трудно не поддаться его худымъ чарамъ, какъ мучительно слушать военный маршъ и итти не въ тактъ съ нимъ. Только вернувшись въ свой отельный номеръ, я соображала, что собственно можно было еще остаться въ «городѣ». Но гулянье по городу само по себѣ ничего кромѣ разочарованія и усталости не приносило. А посѣщать мѣста, которыя казались интересными, у меня не было средствъ; да и это была ошибка. Такъ отъ станціи къ станціи, отъ direction къ direction меня бросало вмѣстѣ съ сонмомъ мнѣ подобныхъ.

На Монпарнассѣ одной волной мы катились къ линіи Nord-Sud, — давя переднихъ, толкаемые зад-

ними. Электрическія двери издали скрипѣли, прикрываясь передъ самымъ носомъ. Съ рокотомъ останавливался за рѣшеткой поѣздъ. Мы уныло дежурили въ узкомъ проходѣ, погруженные въ душный, потный сумракъ, въ истерическое безразличіе, перемежающееся съ усталымъ раздраженіемъ.

И это ожиданіе было похоже на кошмаръ, длящійся вѣка, атавистичеекій сонъ, или бредъ умирающаго ипохондрика. Мелькала догадка, что въ аду грѣшники вотъ такъ безъ конца будутъ дожидаться. Пошатываясь на натруженныхъ ногахъ, всѣ грозно озираются на облокачивающихся сосѣдей; должно быть лампы горятъ, а въ зрачкахъ темно, темно.

Вагоны здѣсь уже полупустые. Просторные, свѣтлые. Я опускалась на фанерную доску сидѣнья и податливо покачиваясь закрывала глаза. Въ этотъ часъ, единственно за весь день, въ электрическомъ поѣздѣ, глубоко подъ землей, мнѣ удавалось, наконецъ, «остановиться», задуматься, взглянуть на себя со стороны. Мелькали крылатыя названія станцій. Сонные пассажиры таяли по пути. И за эти 10 минутъ я успѣвала ощупать всю свою жизнь, той тусклою мыслью, которая не часто рождаетъ дѣйствіе. Я думала приблизительно такъ:

— Вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ какъ я въ Парижѣ. Въ столицѣ міра. Куда ведутъ большія дороги. Гдѣ вся земля представлена. И если здѣсь моя жизнь такъ унизительно сѣра, то гдѣ же и когда она будетъ полнѣе?

Встаю въ семь. Непримиримая стужа номера-камеры. Бѣгу вприпрыжку. Метро. Отъ девяти до семи грошевая, чуждая работа. Вечеръ. Подземелье; тем-

ные огни. Пересадка на Монпарнассѣ. Некрашенная лѣстница холоднаго отеля: кругъ завершенъ. А завтра въ семь — вставать.

Воскресенье начиналось поздно, долгожданное размѣнивалось на мелочи: чистку, штопку, мытье головы... оставляя горечь и сиротливую боль. Сочиняла письмо полувымышленной подругѣ.

(«Сегодня мнѣ особенно грустно. Прошелъ еще одинъ ненужный день, какихъ много позади и впереди. До полудня валялась въ постели... Быть можетъ все это не такъ и я не имѣю права такъ думать... Но искренне говорю тебѣ, родная моя сестра, я потеряла путь»...).

Такого письма нельзя кончить. Его нельзя послать. Да и подруги то кажется не было.

Конечно, я обошла нѣкоторые музеи. Вмѣстѣ съ праздничной толпой семейныхъ французовъ, иностранцевъ, съ каталогами, и неряшливыхъ безработныхъ, становилась въ очередь у желтой Джіоконды; застывала у Венеры Милоской. Но живописи, какъ большинство изъ этихъ посѣтителей, я не любила, мрамора не понимала и уходила усталая до обморока, голодная, съ мигренью и съ унизительнымъ, рабскимъ сознаніемъ, что воскресеніе-то ушло. А завтра съ семи, постылый, ненужный трудъ.

Въ этомъ аукающемъ, стучащемъ, порочномъ круговращеніи, во мнѣ все требовательнѣе и требовательнѣе назрѣвала необходимость найти что-то, не убѣгающее, не скользящее вмѣстѣ со всѣмъ, окружающимъ меня, призрачнымъ міромъ; обо что бы я могла опереться. Нѣчто, если не совсѣмъ стойкое, то хотя

бы перемѣщающееся по иному. А безъ этого мнѣ трудно, постепенно невозможно, становилось жить.

Я родилась въ семьѣ захудало-дворянской, чиновничьей. Моя мать рано умерла, оставивъ только нѣсколько поблекшихъ карточекъ, на которыхъ она снята во весь ростъ, съ огромной, толстой, жутко-тяжелой косой до пола и съ угрюмымъ, неудовлетвореннымъ взглядомъ, устремленнымъ все куда-то въ сторону. Въ дѣтствѣ я часто хворала и отецъ меня буквально пронесъ на рукахъ сквозь строй всѣхъ инфекціонныхъ заболѣваній. Я уцѣлѣла благодаря чуду и естественно, что мы всѣ связывали съ этимъ надежды на хоть какую-то осмысленную жизнь. Въ 15-мъ году мы эвакуировались, бѣжа отъ нѣмцевъ вглубь Россіи. Отъ 18-го до 22-го — проходила въ деревяшкахъ на босу ногу; простояла въ очередяхъ, декламируя Блока; прислушивалась къ ружейной пальбѣ. Можетъ быть, почти навѣрное, въ этомъ скрывался какой-то смыслъ, но я его не видѣла. Въ 22-мъ, потерявъ въ пути отца, дорвалась до Риги, гдѣ была поражена бѣлымъ хлѣбомъ, королевскими сельдями, шелковыми чулками и тѣмъ, что словно — «ничего не случилось». Само собою разумѣется, что и не для этого періода стоило родиться. Я жила подобно всѣмъ подросткамъ, какъ бы не вѣдая, что творю. Впервые встрѣчалась съ нѣкоторыми явленіями природы, иныя одолѣвая, передъ другими отступая; боролась за существованіе; но все это какъ-то походя, увѣренная что это «пока», а настоящее, — погодите, — начнется послѣ. Служила. Училась. Любила. Я вынесла достаточно горечи и холода, и совершенно очевидно, что не только для этого болотца я уцѣлѣла. А мысль, что

можно родиться, рости и умереть безъ назначенія, безъ смысла, была мнѣ непривычна; и когда я начинала къ ней склоняться, она приносила съ собой такую смрадную пустоту, съ которой жить становилось не вмочь. Если бъ находиться въ холѣ и нѣгѣ: если бы я чувствовала въ земныхъ радостяхъ, — премьеры, тропическія страны, забавное общество, — можетъ быть тогда легко и примириться. Но чтобы осилить каторжное, одиночное заключеніе, которое и составляло мою жизнь, — надо было узнать: къ чему?

Когда-то молодежь моего круга и темперамента уходила въ революцію. Туда пошла моя мать и всѣ родные съ ея стороны. Ледяной вѣтеръ 17-го года сдулъ верхній пластъ привычнаго міра. Подъ нимъ оказалось бурное, черное и глубокое море. Надо было взвалить на себя грузъ новыхъ поисковъ. Старое размело, какъ жировыя пятна по водѣ. Недостаточно бороться съ неправдой, чтобы быть правымъ. И во всякомъ случаѣ, для себя въ этомъ я не находила подлиннаго мѣста.

Мужчины окунаются въ дурманъ страстей: вино, развратъ, спортъ. Можетъ быть. Но у меня не было для этого возможностей.

Любовь? Конечно, когда-то я связывала съ этимъ большія, а одно время и всѣ, надежды. Но тотъ опытъ, который я пріобрѣла при ближайшемъ участіи Павла Кондратьевича, потихоньку, съ содроганіями и угрызеніями совѣсти, развращавшаго меня, (какъ впрочемъ, всѣ дарившіе меня вниманіемъ мужчины), сдѣлалъ свое. Скажу кратко: думаю — самое жестокое разочарованіе для женщины, это бракъ. Разумѣется,

я понимаю, хорошо полюбить, имѣть сына. Но есть въ этомъ чувствѣ та смиренная горечь съ какой, поздней осенью, человѣкъ покупаетъ печь (хорошую, «feu continu»); но если бъ солнце грѣло, вѣдь онъ бы о ней не подумалъ.

Вагоны дергаетъ; на заворотахъ открывается перспектива туннеля съ гирляндой тупыхъ огней. Трубятъ, казалось, самимъ себѣ надоѣвъ, сигнальные рожки. «Dubonnet», «Dubonnet».

Всего десятокъ минутъ. А чего, чего не переберешь. Не думами, не словами, а тѣмъ, что рождаетъ и мысли и зачаточныя движенія языка. Отрывочная сигнализація. «Твое положеніе — дрянь», мягко кивала я головой, съ жестокимъ любопытствомъ отвращенія разглядывая въ окнѣ вагона свое собственное отраженіе, съ которымъ никакъ нельзя разстаться. О, какъ я себѣ опротивѣла, вся, всегда; и только потомъ догадалась, что это отъ излишней любви къ себѣ. «Твое положеніе незавидное». И провѣряла наспѣхъ: avis favorable, «каторга», полуголодъ... «Подумай, что тебя ждетъ? Чудесъ не бываетъ, изъ настоящаго рождается будущее. Повезетъ, получишь право на работу; и службу лучше оплачиваемую. Довольна?» Улыбка. «Нѣтъ? Второй варіантъ. По вечерамъ занимаешься; тебѣ даются языки; пять языковъ, steno-dactylo, 1500 франковъ pour commençer; работаешь весь годъ, пріодѣнешься; бѣлье, шляпа, перчатки; въ августѣ къ морю; песокъ, запахъ; мѣсяцъ ничего не дѣлаешь, загораешь; вернешься свѣжая, смуглая и снова годъ работы. Удовлетворяетъ? Нѣтъ... Тогда послѣдній варіантъ: слѣдишь за наружностью и прочее; мужъ или прочее; Онучинъ говоритъ... Обезпеченъ, будешь

вставать въ десять утра. Нѣтъ. Нѣтъ!» — вскрикивала душа.

Если бъ дѣйствительность походила на эти образчики, можетъ, я бы временно какъ-нибудь и примирилась; но она роковымъ образомъ уступала даже имъ, поражая своей безвкусицей и ничтожествомъ. У меня не было спасательнаго клапана, пусть мнимаго, но все же дающаго людямъ возможность существовать; никакого «мифа», скрывающаго грубые швы налаженнаго другими, вопіющаго, порядка жизни. Я прозябала въ постоянной боязни всего и всѣхъ: въ ателье — хозяина, который могъ недоплатить, контръмэтра, который могъ лишить нелюбимаго, безполезнаго труда, сослуживцевъ, которые могли нагадить; на улицѣ — жадныхъ мужчинъ, наглыхъ женщинъ и представителей власти: крылатка постового агента, фуражка полисмена-велосипедиста и даже зычный окрикъ кондуктора автобуса... таили въ себѣ угрозу, предупрежденіе: я безправная, я ненужная, я преступница. Въ этомъ большую роль сыграли дни моего бездомнаго побиранія, — всякій можетъ обидѣть, всякій можетъ прогнать. (И обижали, и гнали). У себя въ отелѣ я избѣгала встрѣчи съ патрономъ, робѣла передъ прислугой, уступала дорогу жильцамъ; каждый стукъ въ дверь воспринимала, какъ приближающееся несчастье.

Все это, позорное, противное и неестественное, выпирало, заставляло остановиться, сосредоточиться, подумать. А осмысливъ, я отчаялась. Это отчаяніе овладѣвало мною незамѣтно, оно зародилось уже давно, постепенно уходя вглубь и въ ширь, подбираясь къ такимъ центрамъ, что дышать становилось нечѣмъ.

Еще въ отрочествѣ, когда случалось смотрѣть внизъ съ веранды высокаго этажа, я спрашивала: броситься? И не то было странно, что вопросъ возникалъ, а то, что въ принципѣ онъ давно словно былъ уже разрѣшенъ и въ умѣстности этого, — и даже обязательности, — не приходилось сомнѣваться. Я родилась съ тѣмъ характеромъ, который въ иную эпоху заставилъ бы меня легко умирать за освященную традиціей идею, итти на каторгу, пѣть подъ свинцомъ пуль. Но на мою долю выпала неожиданная тяжесть новыхъ поисковъ. «Чѣмъ жить?» — Спрашивала у окружающихъ. «Тѣмъ, что жуешь». Невозможно. Да и жевала я дешевку. «Найди себѣ отдушину: азартъ игръ, развратецъ, кинематографъ»! — Совѣтовали всѣ молчаливымъ примѣромъ.

Я пробовала бороться. Записалась въ библіотеку. Когда-то книги на меня дѣйствовали, какъ утѣшительный сонъ. Но за малымъ исключеніемъ, на этотъ разъ отдушина не помогла. Очевидно есть времена, когда необходима болѣе реальная помощь. Старые авторы прекрасны. Но нѣсколько какъ бы наивны. Читаешь, будто, — о другой системѣ, гдѣ важно не то, что для меня главное, и наоборотъ. Молодые же въ лучшемъ случаѣ, страдаютъ незнаніемъ, какъ и я.

Къ тому же, времени для чтенія у меня будто не оставалось. Пробовала вести дневникъ, и бросила: когда писать-то? А главное: словно и не къ чему?!

Посѣщала литературныя собранія. Тамъ десятка два ненавидящихъ другъ друга неудачниковъ говорили вѣроятно о томъ же, о чемъ я думала. Но они были отравлены профессіональными соображеніями и условностями; ихъ вдохновляла въ большей степени честь открытія истины, чѣмъ самая истина. Каждаго изъ нихъ заботило главнымъ образомъ, какь бы другой не пошелъ дальше его. Это отталкивало. Къ тому же, меня не занималъ отвлеченный споръ, — «что есть жизнь?» Мнѣ необходимо было только найти источникъ силы, чтобы захотѣть дальше примиряться съ этимъ существованіемъ. «Во имя чего?» — настойчиво подтачивалъ меня инстинктъ самосохраненія.

Иногда я, чтобы развлечься, проводила вмѣстѣ съ Онучинымъ вокресный день на толчкѣ. «Marché aux Puces» — было его излюбленнымъ мѣстомъ. Здѣсь онъ освобождался отъ своей угловатости, становился самимъ собой: это одинъ изъ его спасательныхъ клапановъ. Я однажды спросила, почему, если это такъ соотвѣтствуетъ его природѣ, онъ не напишетъ поэмы о толчкѣ? Онъ горько отвѣтилъ, что на Marché люди ходятъ дешево купить штаны, а не слагать рифмы. Потомъ добавилъ грустно: «конечно, поэтъ не долженъ быть заинтересованъ въ ходѣ жизни». Но видъ брошенныхъ на землю, смѣшанныхъ съ рухлядью, пыльныхъ хламидъ его околдовывалъ. Онъ шнырялъ по рядамъ, копался въ дырявыхъ сосудахъ, рылся въ грязномъ бѣльѣ, безошибочно изъ жуткой груды рванаго тряпья добывая шелковую рубашку или англійскаго сукна жилетъ. Онъ владѣлъ двумя стами подержанныхъ галстуховъ, хотя въ ателье Онучинъ самъ ихъ раскрашивалъ и могъ брать новые. Такая страсть; онъ былъ, — точно азартный игрокъ, не нуждающійся въ выигрышѣ. Впрочемъ, пріобрѣтая иногда по сравнительно высокой цѣнѣ несессеръ съ серебряной инкрустаціей или ветхую тигровую шкуру, онъ мечталъ, что подвернется выгодный покупатель, такъ какъ ему эти вещи, — ни къ чему; но пропустить ихъ не могъ: «въ магазинѣ онѣ стоятъ тыщу»!

Мнѣ тоже нравилось бродить по этимъ пахнущимъ выгребной ямой сорнымъ лабиринтамъ, одному Богу и Онучину извѣстнымъ, гдѣ можно пріобрѣсти все мыслимое, — отъ подержанной кровати для новобрачныхъ до покрытаго плѣсенью гробика для недоноска, — смотрѣть на бывалыхъ людей, (возсѣдающихъ за

грудами мѣдныхъ канделябровъ, подзорныхъ трубъ, ржавыхъ пищалей и выцвѣтшихъ портретовъ), завтракающихъ на умытыхъ дождями матрацахъ, пытливо оглядывающихъ прохожихъ, иногда стрѣляя имъ въ слѣдъ блатнымъ словомъ или презрительнымъ плевкомъ.

На главныхъ артеріяхъ этого городка играютъ грамофоны, свистятъ радіоаппараты, тужась черезъ потрескавшіеся громкоговорители пропихнуть человѣческій голосъ. Здѣсь расположилась мѣстная аристократія, люди латинской расы. Они глядятъ поверхъ своего товара, неохотно отвѣчаютъ на вопросы, курятъ трубку, — красные, полнощекіе, медлительные и мудрые. За каждымъ и каждой изъ нихъ, — бурная жизнь. Имъ случалось продавать и покупать все, что вмѣщаютъ въ себѣ три измѣренія нашей планеты, и оттого должно быть такой снисходительной, равнодушной лѣнью, такой брезгливой флегмой вѣетъ отъ нихъ. Эти женщины начинали акробатками, балеринами, содержанками богатыхъ купцовъ. У нихъ были драгоцѣнные камни, кокаинъ и любовники; богатство приходитъ, богатство уходитъ; все покупается въ мірѣ, немного дороже, немного дешевле.

Испитое лицо немолодой женщины съ черными, — смола, — волосами, считающей деньги. Косматая вѣдьма, — хиромантка — глядящая въ окно пестраго домика на четырехъ колесахъ. Дѣтвора съ цинковыми котелками, въ бутафорской обуви, шлепающая по серединѣ мостовой. Краснощекій табетикъ, послѣ литра вина и ливра мяса, съ улыбкой мудреца и стоика старается угадать, что намъ нужно.

— Двадцать, — говоритъ Онучинъ.

— Тридцать пять, — спускаетъ философъ безъ воротничка и застываетъ какъ факиръ.

Въ боковыхъ переулкахъ протяжно гомонятъ.

— Это выходцы изъ Россіи, — осклабляется Онучинъ.

Горестныя лица евреевъ. Лохмотья мѣстечекъ привислянскаго края. Смѣсь языковъ. Божба и ругань. Древняя старуха со странными, глубокими, — какъ на колѣняхъ слона, — складками толстой кожи лица, сидитъ идоломъ, окопавшись въ грудѣ невозможно дрянныхъ, зловонныхъ тряпокъ; неподвижная, безмолвная, отдаленная: даже не надѣется, что вотъ подойдутъ, купятъ мусоръ. Одиноко, голодная, стараясь не тратить послѣдняго тепла, застыла она, ничѣмъ не тревожимая. Когда она умретъ: вотъ такъ незамѣтно одеревенѣетъ... вѣроятно пройдетъ много часовъ прежде чѣмъ это замѣтятъ.

Грамофонъ играетъ: «Только разъ бываютъ въ жизни встрѣчи»... Продавецъ старыхъ дисковъ, малороссъ со злымъ, опухшимъ лицомъ подагрика, суетливо тычетъ свою руку въ трубу. Рядомъ стоитъ русская дама — покупательница. Какъ на зло, аппаратъ испортился и пластинка гнусаво подвизгиваетъ.

Еврейская божба, русскія восклицанія, польская ругань непринужденно порхаютъ надъ парижскимъ предмѣстьемъ.

Въ ресторанахъ за полтора франка можно получить блюдо pommes frites или Moules. Ихъ подаютъ на тарелкѣ съ кромкой хлѣба, — безъ вилокъ, безъ ножей. Ѣдятъ руками; пьютъ красное вино, поминутно оглядывая купленное, то съ сомнѣніемъ, то съ удовлетвореніемъ, — или неодобрительно качая головой:

вспоминая о пропущенной дешевкѣ. Торговцы заказываютъ вторично то же самое; ѣдятъ съ толкомъ, пьютъ, смакуя всѣми чувствами, не отвлекаясь, не суетясь: здѣсь они у себя, у цѣли, и священнодѣйствуютъ. У нихъ за плечами бурныя плаванья. Онучинъ съ нѣкоторыми знакомъ. Вотъ корсиканецъ — былъ въ Аргентинѣ депутатомъ, судился за убійство дѣвушки и бѣжалъ. Его жена торговала блондинками. Когда она была моложе, ей многое прощали. Но разумъ приходитъ, когда все остальное утеряно. О прошломъ жалѣть? Не лучше ли кушать жирныя Moules и запивать краснымъ? Философы въ чулкахъ разнаго цвѣта; стоики съ багровыми затылками. Съ какимъ, пріоткрывающимъ тайныя двери, страхомъ, я глядѣла въ ваши круглые, лакированные глаза.

Домой возвращалась усталая, сосредоточенная, дорожа накопившимся за день чувствомъ высокой печали, въ ткани которой свѣтилась неясная возможность грядущаго какого-то счастья. Я заботливо впитывала въ себя, всасывала весь этотъ кавардакъ, безсмысленный балаганъ, гдѣ въ сжатой проэкціи представлялся мнѣ образъ нашего міра: нищихъ, убогихъ, калѣкъ, надѣющихся еще преуспѣть, съ гнусной элитой, гдѣ дорожатъ ржавчиной и хлопочутъ о мусорѣ.

Немыслимо!

Этимъ исчерпались мои попытки развлекаться. Еще, какъ-то въ праздникъ, я побывала въ Медонскомъ лѣсу. Сидѣла среди просаленныхъ газетныхъ листовъ и недовѣрчиво оглядывала рахитичныя деревья. Да разъ «паралитикъ» повелъ меня на собраніе евангельскихъ христіанъ. Цѣлый вечеръ я слушала ихъ сокрушенныя молитвы, проповѣди и свидѣтель-

ства о Спасителѣ и Богѣ, Іисусѣ Христѣ. Они пѣли нескладные гимны. Пѣли родными, русскими голосами, отуманенными скорбью, и, пугающимъ посторонних торжественнымъ чувствомъ отрѣшенія.

Я ушла отъ нихъ, благодарно прижимая локтемъ подарокъ, — Евангеліе отъ Іоанна, — растрогано вспоминая этихъ наивныхъ людей. Приводными ремнями жадности, мертвенно и страстно вращались поршни существованія. Дома стояли, какъ вздернутые на дыбы, уснувшіе звѣри. Злыми шмелями кружили автобусы, готовые задавить все остановившееся. И было жутко подумать о горсти бойцовъ, рѣшившихся выступить противъ земного, всесокрушающаго, свирѣпаго бога. А я, православная, не безбожница, а на Пасху и совсѣмъ вѣрующая, вотъ уже полгода какъ не была въ церкви. И тутъ же я мысленно поклялась въ ближайшее воскресенье сходить къ обѣднѣ. Но и это забылось.

Къ тому времени, въ нашемъ ателье подоспѣли крупныя перемѣны. Однажды, послѣ обѣденнаго перерыва, когда я, согбенная, подсчитывала обведенные платки, выясняя «держу ли пропорцію?», пришелъ патронъ и переругиваясь по обычному съ паралитикомъ, сообщилъ, что сосѣдъ, художникъ Дёмовъ, уѣзжаетъ на югъ и предлагаетъ купить свое ателье. Годовая плата 1500. За шесть комнатъ. Отступного восемнадцать тысячъ.

— Да, — многозначительно и упрямо мычалъ паралитикъ.

— Можетъ онъ уступить за 15.000, — оживленно увѣрялъ себя и насъ патронъ. — Тогда расширимъ дѣло, поставимъ аэрографъ.

А къ вечеру онъ ввалился возбужденный и нервно сообщилъ, что все улажено, деньги уплочены, художникъ расписался и передалъ ключъ. Завтра онъ освободитъ помѣщеніе.

На слѣдующей недѣлѣ хозяинъ дома прислалъ къ намъ человѣка, съ требованіемъ возвратить оставленные Дёмовымъ ключи. Генерала не было, за нимъ послали; когда онъ, наконецъ, прибѣжалъ то нашелъ замокъ отъ квартиры Дёмова сорваннымъ, двери распахнутыми и рабочихъ постукивающихъ молотками. На всѣ увѣренія, что живописецъ ему переуступилъ ателье, «а вотъ расписка»... слѣдовалъ отвѣтъ: — Monsieur Demoff переуступать не имѣлъ права, такъ какъ у него нѣтъ контракта.

Въ заключеніе же генералу предложили освободить въ двухнедѣльный срокъ и его помѣщеніе, такъ какъ вся эта коробка по дряхлости разрушается, — будутъ строить новый домъ, «moderne».

— Вотъ тебѣ кнопочки собирать, скопидомъ дотошный, — встрѣтилъ хозяина паралитикъ. Онъ хотѣлъ было продолжать, но взглянувъ на генерала, отпрянулъ въ уголъ.

Пріѣхалъ representant и contre-maître Санитаровъ. «Это милліонное дѣло»! — взвизгнулъ онъ еще на лѣстницѣ. Увелъ генерала въ «контору» и громкимъ шепотомъ сталъ объяснять: разъ выселяютъ, причиняютъ убытокъ фирмѣ, обязаны дать отступное. Былъ такой случай. Двѣсти тысячъ. Генералъ разразился истерическимъ хохотомъ. На него больно было смотрѣть. Жалкій, старый и глупый.

Недѣли черезъ три пришла консьержка освѣдомиться, когда мы переселяемся? Обученный друзья-

ми, генералъ отвѣтилъ, что итти ему некуда, денегъ снимать квартиру у него нѣтъ и все это ему даже странно слышать. Часъ спустя явился хозяинъ съ двумя синеблузниками. Они закрыли газъ, перерѣзали электрическіе провода, заклепали водопроводныя трубы, отобрали торчащій въ дверяхъ ключъ и, предваривъ, какія непріятности ждутъ иностранцевъ, если они озорничаютъ, удалились.

— C'est moi le patron! — многократно повторялъ хозяинъ. Онъ разорился, его домъ объявленъ къ продажѣ съ торговъ. Молодой, спѣсивый онъ видимо больше всего страдалъ отъ уязвленнаго самолюбія. Въ каждомъ очередномъ выпадѣ видѣлъ не «коммерческій ходъ», а личное оскорбленіе: прогналъ консьержку, прибилъ арендатора ближайшаго бистро и теперь занялся генераломъ.

Пока Санитаровъ брызгалъ водой на умиравшаго въ обморокѣ «Іудушку», а кстати пришедшій Кишкинъ привинчивалъ къ дверямъ поспѣшно купленный «Коломъ» новый замокъ, мы всѣ сгрудились въ дальнемъ углу, курили и шептались какъ при покойникѣ. Онучинъ и Прокопенко уславливались итти служить къ нашимъ конкурентамъ. Паралитикъ мечталъ о карьерѣ кинематографическаго декоратора. Мнѣ же некуда было податься. Я улыбаясь, прислушивалась къ внутренней боли и думала, что вотъ жизнь ставитъ еще одинъ барьеръ и если она была столь постыла до сихъ поръ, то какъ же осмыслить и освоиться съ этой новой тяжестью, какъ ее осилить, ничего не зная и не любя?

«Representant» одѣлъ согбеннаго генерала и, поддерживая его, увелъ къ адвокату. Вернулись они въ

4*

состоянiи полнаго разложенiя, переходя отъ ругани къ нѣжностямъ, отъ шутокъ къ причитанiямъ. Юристъ увѣрялъ, что съ одной стороны они правы, съ другой — виновны; можно выиграть, но не трудно и проиграть. Отступное не полагается, такъ какъ контракта нѣтъ. Вознагражденiе полагается, потому что хозяинъ ворвался силой въ чужую квартиру и самочинно въ ней распоряжался. Визитъ — пятьдесятъ франковъ.

Генералъ лихорадочно бѣгалъ по ателье, жаловался безъ умолку, визгливо ругалъ контръ-мэтра и заискивалъ передъ паралитикомъ, связывая свои неудачи почему-то съ нимъ.

Послѣ третьяго визита къ адвокату, генералъ отчаялся. Побѣжалъ къ хозяину и взмолился о мировой. Ему кто-то сообщилъ, что могутъ выслать. Этимъ дѣло кончилось. Намъ объявили расчетъ, предпрiятiе ликвидируется. Жена генерала пресѣкла дѣятельность своего мужа. Насъ распустили, не доплативъ каждому половину причитающейся суммы. И въ томъ, что не доплатили ровно половину, чувствовалась еще какая-то порядочность.

То было въ пятницу, вечеромъ, — въ cinema смѣнилась программа, — когда на парижскихъ бульварахъ я снова почувствовала себя такой свободной ото всего, что становилось боязно дышать. Такой огромный городъ; и каждый для себя; и каждый о себѣ; мертвый городъ. Я закурила «синюю», глубоко затягиваясь, упиваясь сложной смѣсью душистаго горькаго дыма, страха и сладостной боли. Контрапунктъ чувствъ. Моя наличность, — 56 франковъ; за комнату уплочено до воскресенiя.

Если бъ мнѣ предстояли испытанія какого-то новаго порядка, пусть нелегкія, но хотя бы не столь знакомыя постылыя, пріѣвшіяся! . . Но опять по утрамъ: объявленія, метро, робкій звонокъ, — прислушиваясь къ замирающему сердцу: бьется оно или не бьется, — скорѣе бы отказали. А сердце, что за галопъ, что за дикую лезгинку откалываетъ оно. То остановится, то забѣжитъ впередъ, взвизгнетъ кровь въ аортѣ, передъ глазами диски. Ключъ Морзе стучащій въ горлѣ. Отъ недоѣданія, отъ всевозможныхъ страховъ, мои «сердечныя» дѣла, должно быть сильно пошатнулись.

Конечно, за время службы у генерала, я собрала кое-какіе адреса: одни подслушала, о другихъ догадалась, несмотря на общую скрытность. И первое время, я втайнѣ — втайнѣ отъ самой себя — вѣрила, что теперь все легко устроится: я человѣкъ уже не беззащитный, съ профессіей и со связями. Но все это, какъ часто бываетъ, оказалось ничего не стоющимъ; на третій день, обойдя всѣхъ знакомыхъ, я очутилась въ томъ же одиночествѣ, въ какомъ была раньше.

Заметалась по объявленіямъ.

Такъ случилось, что къ этому времени подоспѣлъ періодъ менструаціи (это всегда такъ бываетъ). Объ

этомъ бы стоило многое разсказать, но не принято, — Богъ знаетъ почему! Вѣроятно благодаря общему ослабленію этотъ недугъ у меня пріобрѣталъ форму болѣзненно острую. Еще за недѣлю до того я испытывала недомоганіе, боли, рѣзи, ломоту; и никогда, никогда не догадывалась, что это именно *то*, хотя при-приходило это ежемѣсячно, — такое помраченіе. За день до того я уже была вся во власти темныхъ бѣсовъ. Мною овладѣвали иппохондрія, чувственная раздражительность, (до буйства); маніи: меня преслѣдовали запахи, цвѣта, жажда сокрушенія, уничтоженія (бритва), будь то окружающихъ или самой себя. Затѣмъ наступали самые дни, всегда неожиданно для меня, все объясняющіе и даже успокаивающіе, несмотря на приносимые ими физическое и душевное истощеніе. А черезъ три недѣли все сначала, — четверть жизни тратилось на это и нельзя пожаловаться; не принято. «Полежать бы денекъ» — вздыхала я, группируя газетныя вырѣзки, на ходу прожевывая petit pain, шлепая по добытымъ адресамъ: такъ пересиливала себя.

Въ награду за выдержку неожиданно получила службу; гувернанткой къ ребенку. Ночь продержалась, а къ утру ушла: дѣвочка помѣшанная, (скрыли отъ меня), лупитъ головой объ полъ, трясется, синѣетъ, ловитъ кого-то рученками, — это ночью-то, со мною наединѣ. Не по моимъ оказалось силамъ. Унесла десять франковъ, (за мѣсяцъ триста, — мать правильно расчитала). И снова подземные разъѣзды; вылѣзешь изъ кротовины: наверху небо, приволье, кругомъ особняки, витрины магазиновъ, — довольство, богатство; а ты нуль, нуль. Кажется, — всѣ

лучше, значительнѣе тебя; помѣняться бы, — неважно съ кѣмъ: вонъ съ этимъ безногимъ, съ той проституткой? — лишь бы не быть собой: такъ опротивѣла себѣ.

Нежданно меня посѣтилъ Онучинъ. Онъ «застучалъ» обрадованно и оживленно, — какъ при нашемъ знакомствѣ. Такой ужъ это человѣкъ: когда мы работали рядомъ, я ему была безразлична и онъ часто незаслуженно, зло покрикивалъ, а теперь, — патока изъ устъ: я самая умная изъ всѣхъ его знакомыхъ, умѣю молчать, тра-та-та да тра-та-та. Малокультурный, грубой складки человѣкъ, съ проблесками благородства, изящной легкости и неустойчивой честности.

Онъ предложилъ пойти погулять.

Разговоръ шелъ онучинскій: у Зои огромная жирная грудь и этого онъ ей не можетъ простить, — создаетъ опредѣленную, всегда одну и ту же атмосферу.

— Это у вашей жены то. — удивилась.

— Какая она мнѣ жена? — смутился Онучинъ, — она мнѣ не жена.

— Ну, какъ не жена. Живете вмѣстѣ...

— Живу. Ну такъ что. А вѣнчаться не думаю.

— А мнѣ сказали, что вы намѣревались жениться.

— Это Прокопенко. Онъ балда всегда напутаетъ. Я только сказалъ, что въ началѣ нашего знакомства ее почти любилъ, а значитъ готовъ былъ счесть и женой.

— А теперь не любите?

— Ну, конечно, нѣтъ! — сожмурился, и на минуту въ немъ отразилось, какъ въ зеркалѣ, жирное, блѣдное лицо его близоруко щурящейся подруги. — Конечно не люблю, — увѣрялъ Онучинъ.

Какъ мнѣ хотѣлось его ударить.

Какъ-то, — еще въ ателье, — они подрались: Онучинъ просилъ ключъ отъ квартиры, (собирался вернуться поздно). А она говорила, что ключа не дастъ, будетъ его ждать: ей пріятно ему отпереть дверь, — знать, что уже вернулся. Все это ровнымъ, невысокимъ голосомъ, внѣшне не обращая вниманія на насъ, — постороннихъ, — а внутренне страдая, содрогаясь. Затѣмъ пили вино и она вылила часть Онучина на полъ (отъ вина онъ всегда хворалъ и жаловался). Онъ бросился ее бить: по слабости ли, или по неумѣнію драться, щипалъ ее по-бабьи, ломалъ, выворачивалъ суставы пальцевъ, она же мужественно отбивалась, насѣдала и стучала кулаками по его спинѣ. Потомъ они громко отдувались, — она, утирая слезы, онъ, гладя ушибленныя мѣста, роняя послѣднія объяснительныя фразы: «я тебя прогоню вонъ» — угрожалъ Онучинъ. «А вино я выплеснула», — безцвѣтно, какъ загипнотизированная вторила Зоя...

Я часто гадала: откуда черпаетъ она эту готовность мириться со всѣмъ? Спросить же ее нельзя: за свои униженія она готова была мстить невиннымъ. Но однажды Онучинъ проговорился, что Зоя въ отвѣтъ на его восхищенія мною, — какъ всегда вздорныя; за глупость превознесетъ, а стоющаго не замѣтитъ, — сказала, что удивляется, какъ я могу переносить свою грубую, суровую долю безъ тепла, безъ ласки. И тогда я все поняла: каждый человѣкъ относится къ своей

судьбѣ, словно къ имъ заношенному бѣлью; оно грязное, но все же знакомое, родное, — кажется лучшимъ, чѣмъ чужое и во всякомъ случаѣ не столь гнушаешься.

Мы выпили кофе. Въ сосѣднемъ синема давали фильмъ изъ морской жизни. На минуту, съ цвѣтныхъ афишъ, на насъ дохнуло безкрайней волей океана. Мы вошли. Отъ музыки ли, или отъ свѣта, только я набралась храбрости и предложила Онучину мнѣ опять помочь какъ-нибудь устроиться. Онъ сразу оживился (съ какимъ страхомъ я слѣдила за угасаніемъ этого оживленія):

Дѣйствительно у нихъ требуется рабочій. Но какъ сдѣлать? «Кружева» я умѣю; каталанами онъ завѣдуетъ, — значитъ уладитъ. Но вотъ аэрографъ? Аэрографомъ распоряжается его лютый врагъ и если Онучинъ будетъ хлопотать за меня, то добьется обратнаго. А работа пустяковая, за часъ практики можно усвоить начала.

— Есть исходъ, — поморщился Онучинъ: — Ленька, — его врагъ, — является въ девять часовъ: придите въ восемь. Я васъ буду ждать. Дамъ «пистолетъ» и пострѣляете сколько влѣзетъ. Спеціальность простая.

Я знала что онъ скоро увянетъ и поэтому съ грубоватой торопливостью стала уславливаться насчетъ времени, мѣста и другихъ частностей свиданія. Я угадала. Онъ измѣнилъ свое рѣшеніе. Рекомендовать меня онъ не можетъ. Подумайте, если все откроется, какая будетъ компрометація, ужъ Ленька используетъ.

— Что же дѣлать-то?

— А вотъ что. Итти прямо къ хозяину, онъ на

рѣдкость вѣжливый, хорошій человѣкъ, еврей, только деньги неаккуратно платитъ. Женщинъ онъ очень уважаетъ и даже побаивается. А главное въ работѣ никогда не откажетъ, хоть на недѣлю, а поручитъ что-нибудь красить. Пойти прямо въ контору, объясниться, онъ дастъ записку къ Ленькѣ или протелефонируетъ.

А на завтра къ восьми утра Онучинъ меня будетъ ждать въ ателье: «пострѣляемъ» до девяти. Надо сдѣлать вотъ такія спирали. Въ этомъ заключается Ленькинъ экзаменъ. «Балда, можно быть приличнымъ спеціалистомъ и этого не сумѣть». Но я подготовлюсь и выдержу испытаніе. Къ тому же Ленька бабникъ.

Онучинъ ежеминутно отвлекался, перескакивалъ съ одного предмета на другой: безпрестанно перебивалъ, — спрашивалъ мое мнѣніе о проходившихъ женщинахъ. Я уславливалась о времени посѣщенія хозяина, — «завтра въ часъ», — онъ декламировалъ Гумилева: «такъ вѣкъ за вѣкомъ, — скоро ли Господь? — подъ скальпелемъ науки и искусства страдаетъ духъ, изнемогаетъ плоть, рождая органъ для шестого чувства».

— Не спросятъ ли рабочую карту? — робко освѣдомилась: тема черезчуръ рискованная, да и безтактно приставать съ этакой прозой.

— У васъ нѣтъ карточки? — даже возмутился Онучинъ. Такой уже онъ есть: четыре мѣсяца я изо дня въ день вздыхала о правѣ трудиться, а онъ все не запомнилъ. — Ну, тогда ничего не выйдетъ! — рѣшилъ онъ, радуясь, что дѣлаетъ мнѣ и себѣ больно. — Нечего и пробовать, они безумно трусятъ, сейчасъ строго.

Опять и опять разспрашивала я, уговаривала и, наконецъ, повліяла: рѣшили, что попробовать стоитъ. Въ отсутствіи «avis favorable» никакъ не сознаваться: забыла документъ. «Забывать» его пока не прогонятъ, — недѣлю, мѣсяцъ? А можетъ повезетъ, — чудо какое.

Я на лѣвую руку надѣла перчатку съ правой руки. Если васъ спросятъ у кого вы работали аэрографомъ, скажите: у Жака... обучалъ Онучинъ.

— Хорошо. Только я вѣдь его не знаю.

— Ничего. Онъ его тоже не знаетъ. Это на Clichy.

На экранѣ бушевалъ штормъ. Матросы изнемогали въ рукопашномъ бою. Подъ знойнымъ солнцемъ, на тропическомъ островѣ, рослыя туземки, сладостно улыбаясь, убирали диковинные злаки; къ вечеру поля хмелѣли отъ красокъ и линіи горизонта были насыщены эдемскимъ, — гдѣ намъ, — покоемъ.

Онучинъ воровски просунулъ руку кренделемъ, неумѣло обнялъ меня. Боязливымъ, спрашивающимъ усиліемъ притянулъ къ себѣ, поцѣловалъ, въ ухо, брръ. Я боялась шевельнуться, чувствуя совсѣмъ близко его губы, его бородавчатое бабье лицо. Корчась, какъ отъ студеныхъ капель, стекающихъ за воротникъ, я неувѣренно отбивалась, все еще стараясь сохранить остатки какого-то приличія, дружескихъ отношеній и взаимнаго пониманія. Я не нашла возможности отодвинуться не обидѣвъ его. А обидѣть не имѣла силъ. Корабль шелъ черной птицей по серебристымъ барашкамъ. Какъ огроменъ, какъ цѣломудренъ просторъ. Какъ велика земля. Какой легкой могла бы стать жизнь. Онучинъ меня упорно цѣловалъ

въ ухо. Я чувствовала его судорожно подрагивающій локоть, повисшій въ неловкой позѣ. Эта мука продолжалась добрыхъ полчаса. Стыдно; но силы мои очевидно убывали. Мы вышли въ толпѣ цѣлующихся парочекъ. Еще разъ продолбила ему урокъ: «завтра въ часъ (постарайтесь со мной встрѣтиться); а тамъ: въ восемь — ателье — пистолетъ»... Мы разстались: вырвала руку и конфузливо, чуть ли не обнадеживающе улыбнувшись, убѣжала.

«Я хорошая. Я стремлюсь къ доброму... Меня заставляютъ дѣлать пакости, — чья вина!?»

Но эти разсужденія уже не могли меня удовлетворить. Я плакала, укладываясь въ свою двухспальную, холодную какъ снѣгъ кровать. Въ отелѣ у насъ не топили, по утрамъ вода для туалета замерзала въ мискѣ, простыни по угламъ покрывались инеемъ; я испытывала какой-то не совсѣмъ оправданный, атавистическій страхъ, — мнѣ трудно было себя заставить раздѣваться, окунуться въ этотъ ледяной сугробъ. Чтобы согрѣться, я клала къ ногамъ бутылку съ горячей водой, но достигала обратнаго дѣйствія, — физіологи вѣроятно найдутъ этому объясненіе. Я бросала поверхъ одѣяла все, чѣмъ владѣла, — начиная отъ пальто и платьевъ, кончая чулками, чистымъ и грязнымъ бѣльемъ. И оттого мнѣ казалось, что я лежу въ глубокой, глинистой, промерзлой могилѣ, а надъ головой высится холмъ, — охъ какой тяжелый. Проснешься ночью и не понять: гдѣ я, что? Еще меня мучили злые сны, мой позоръ, мой страхъ, моя тайна. Меня грубо преслѣдовалъ мужчина. И чѣмъ преступнѣе казался онъ съ виду, чѣмъ отвратительнѣе прикасался, тѣмъ полнѣе, безумнѣе и ужаснѣе было.

Все это не то. И мнѣ трудно передать, очевидно невозможно, какъ гадко, какъ безпримѣрно скучно, сражаться, не разбираясь въ средствахъ, по инерціи, за сѣрую, постылую жизнь; какъ хилъ, какъ ненуженъ бываетъ человѣкъ, пока онъ, — самъ по себѣ.

На-завтра уже въ одиннадцатомъ часу я приближалась къ воротамъ конторы: всегда лучше загодя, мало ли что случается, къ тому же, — другихъ дѣлъ у меня нѣтъ. Метро Gobelins. Мрачный дворъ, старый, темный, чистый, мѣщански порядочный, хищническій. (Почему то вспомнила: «на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ»). Въ моемъ распоряженіи чуть ли не два часа. Стала слоняться, — вверхъ и внизъ по авеню.

Ахъ, это ожиданіе. Цѣлыми часами перебирать въ памяти, что именно говорить, въ какомъ порядкѣ, что подчеркнуть, чего не должно упоминать (на зло, почти всегда: прорветъ), и гдѣ, отвѣтивъ одно, необходимо создать впечатлѣніе противоположнаго (только бы не усомниться, — необходимо ли?)!

Снова и снова разсматриваю свои «карты»: аэрографа не знаю (но Онучинъ покажетъ), каталаны — авось, кружева — умѣю, а «карточки» нѣтъ, Ленька бабникъ. Игра неважная. Я останавливаюсь передъ витриной галантерейнаго магазина, — въ зеркалѣ отражена во весь ростъ. Ничего, довольно выразительное лицо, рослая и одѣта удовлетворительно, — только перчатки, недостаютъ перчатки. За стекломъ лежатъ въ безпорядкѣ лайковыя перчатки, они душатъ другъ друга, сжимаютъ безкровные пальцы въ су-

хомъ и страстномъ рукопожатіи, — это какъ бы протянутыя изъ иного міра цѣпкія объятія; въ ихъ расположеніи, въ ихъ позахъ столько внутренняго движенія, что по сравненію съ ними я кажусь манекеномъ.

Случайно ли я попала на эту распродажу. Въ нашей жизни, гдѣ внѣшне все кажется зависитъ отъ «одной минуты», становишься суевѣрной. Задумываюсь, — такъ хмурится полководецъ передъ наступленіемъ. Минута колебанія. — Надо вести политику дальняго прицѣла. Вхожу въ магазинъ. Почти неожиданно для себя становлюсь обладательницей пары перчатокъ. 15 франковъ. Для меня огромная сумма. «Вѣроятно — не случайно!» — обнадеживаю себя, стараясь подогрѣть мое уже остывающее вдохновеніе. А перчатки — «шикарныя». «Не опоздала ли?» Бѣгомъ къ висячимъ часамъ. Нѣтъ, всего двѣнадцать.

Купила фунтъ яблокъ и petit pain, — съѣмъ въ ближайшемъ скверѣ: надо подкрѣпиться, чтобы не имѣть несчастнаго вида.

Вотъ уже волоподобные рабочіе въ синихъ блузахъ разсаживаются за ресторанными столиками. Передъ ними выростаютъ литровыя бутылки вина и кровавые куски мяса. Стриженыя кельнерши улыбаются золотушной улыбкой. Хриплая торговка продаетъ овощи «pour finir». Какъ я имъ завидовала. Всѣмъ этимъ жирнымъ лотошницамъ, бородатымъ газетчикамъ, толстомордымъ рабочимъ и развратнымъ кельнершамъ. За то, что они сыты и довольны, краснощеки, имѣютъ родину, семью и привычный трудъ. Растолковывала себѣ, что врядъ ли и они счастливы, либо ужъ очень тупы. Пусть, пусть звѣриная тьма. Надоѣ-

ло искать въ вёдро и непогоду. Вѣчно искать; я устала подниматься по чужимъ лѣстницамъ, спѣшить, постыдно подпрыгивая, заискивать, робѣть и голодать.

Съѣла всѣ яблоки. Ихъ было много. А выбросить жалко. Вотъ и доѣла. И въ животѣ, точно поршень пришелъ въ движеніе.

Безъ четверти часъ мое нетерпѣніе начало достигать крайнихъ точекъ. Обычно, за этимъ зудящимъ, знобящимъ подталкиваніемъ времени, приходила нѣкая досадная потребность: оправиться. Знаю, это внушеніе или неврозъ, — всего лишь часъ назадъ были приняты всѣ необходимыя мѣры, и уже съ вечера старалась поменьше пить. Что жъ подѣлешь: меня приводила въ трепетъ мысль о возможной катастрофѣ. Отъ болѣзни ли, отъ недоѣданія, — нѣкоторые удерживающіе центры ослабли, и я должна была опасаться вещей съ которыми мирятся только въ дѣтствѣ. А въ нѣкоторые періоды все это усложнялось до отвращенія. Знаю, многіе предпочитаютъ не останавливаться на такихъ подробностяхъ, но внутренній голосъ, голосъ совѣсти и правды учитъ меня другому.

Я вошла въ ближайшее бистро, на ходу заказала кофе и скрылась въ уборной; въ зеркалѣ имѣла возможность любоваться своимъ зеленѣющимъ, — подергивающимся, — изведеннымъ лихорадкой волненія лицомъ. Взглянула на себя съ отчаяніемъ, съ ненавистью и презрѣніемъ; взглянула точно плюнула: почему я такая ничтожная?

Кофе оказалось холоднымъ, тухло-кислымъ; къ тому же не могло быть сомнѣнія: разбаливался животъ. «Это яблоки, яблоки». Но времени больше не было.

Я спѣшила къ дому № 13. Пробѣжавъ нѣсколько шаговъ остановилась: ровно часъ, не лучше ли опоздать минутъ на пять, для «независимости?» Повернула обратно. Черезъ мгновеніе снова бросилась къ воротамъ: Онучинъ сказалъ въ часъ, значитъ есть причины. Такъ по обыкновенію мѣняя темпъ и направленіе своей рыси, достигла нужной мнѣ, старой стройки, мрачной подворотни. Въ глубинѣ оказался другой дворъ и тамъ, въ концѣ ютилась контора господина Шаца. 3-ій этажъ, лѣвая дверь: консьержка повторила дважды. точно самой себѣ, не довѣряя.

Лѣстница, тусклая, прочная, позолоченая, — носила отпечатокъ давнихъ тревогъ, «быть какъ всѣ», скопидомства и разоренія. Мнѣ показалось все кругомъ словно бы съ дѣтства знакомымъ, — герои Диккенса должны были дышать такимъ воздухомъ. Запахъ: времени, холодѣющихъ стариковъ, подолгу откашливающихся на площадкахъ, бухгалтерскихъ книгъ. Сумрачные витражи оконъ, паутина, — немного подальше, выше гдѣ небрежная рука лѣнится пройтись тряпкой, — карнизы въ темныхъ синякахъ, пыль на позолотѣ. И мѣдная дощечка, ввинченная въ дверь: L. Schatz. Отъ нее несло тайной горечью, духомъ тщеты, напрасныхъ стараній и мудрой снисходительности ко всему. Онъ меня успокоилъ, этотъ тусклый прямоугольникъ со стертыми, какъ бы гофрированными буквами; я чему-то радостно улыбнулась, «Домби и сынъ», прошептала позвонивъ. Звонокъ очевидно не дѣйствовалъ, за дверью слышались голоса; толкнула дверь — она открылась безъ скрипа. Разумѣется есть свое очарованіе въ такомъ прохожденіи по многочисленнымъ норамъ — вторгаться въ чужую, хотя бы и

внѣшнюю жизнь, видѣть пеструю обстановку, легіоны лицъ въ ихъ домашнемъ быту; но тяжко, какъ тяжко, нуждаться въ ихъ помощи.

Я попала въ темный безъ оконъ коридоръ, въ который выходило нѣсколько распахнутыхъ дверей. Изъ одной комнаты доносились обрывки спора; я двинулась на голоса, издали разглядѣвъ неряшливую голову Онучина.

— Вамъ что? — мѣшковато поднялся навстрѣчу человѣкъ съ оливковаго цвѣта разсѣяннымъ лицомъ, съ круглыми черными, совершенно неподвижными, глазами совы: — Вы что?

Я объяснила, что пришла по частному дѣлу.

— Такъ сейчасъ? — удивился. — Нельзя ли вечеромъ? Какое дѣло? — Онъ бросалъ множество краткихъ вопросовъ, точно не имѣя терпѣнія дослушать отвѣтъ.

Я разсказала, что ищу работу, онъ будетъ мною доволенъ, ему всегда пригодится спеціалистка, пожалуйста... Все это произнесла шепотомъ, мучительно краснѣя и спѣша, какъ нетвердо усвоенный урокъ, стыдясь Онучина, который отвернувшись къ окну застылъ пойманнымъ школьникомъ, тоже покраснѣвъ и съ той улыбкой на лицѣ, какая бываетъ, когда прислушиваешься къ начинающейся, застарѣлой зубной боли.

— Почему вы не пришли раньше? я бы вамъ далъ работу. Теперь много кандидатовъ. Мы дали объявленіе.

Мягко мигая, я слушала его, слегка кланяясь, словно подталкивая къ желанной цѣли.

— Что вы умѣете дѣлать? Каталаны дешевые умѣете дѣлать? — Я кивнула утвердительно. — По пол-

5*

тиннику? — Я нашла умѣстнымъ сознаться что это мало. — По семьдесятъ пять! — примиряюще рѣшилъ онъ. — А изъ пистолета вы скоро работаете? Какъ скоро? Вы гдѣ раньше служили?

— У Жака.

— Черненькій такой, маленькій?

— Это на Clichy, — отозвалась едва слышно.

— Хорошо, пускай васъ посмотритъ Леонидъ Иванычъ. Придите завтра къ восьми въ ателье. Вы знаете гдѣ ателье? Тамъ будутъ еще кандидаты, васъ испытаютъ. Я вамъ дамъ карточку къ Леониду Ивановичу! — Рѣшилъ онъ и направился къ столу.

Я озиралась по сторонамъ, — такъ душно, такъ нечѣмъ было дышать, — словно ища глазами воздухъ. Комната сумрачная, темная, большая и все же тѣсная благодаря всюду наваленнымъ разнороднѣйшимъ предметамъ. Вдоль стѣнъ сѣрѣли прислоненные холсты, почернѣвшія отъ пыли статуэтки, фарфоровыя вазы, деревянные идолы. Письменный столъ стариннаго ходатая, законника: трухлявыя папки, перья, ручки, выцвѣтшіе письменные приборы, темные въ кляксахъ, старинная посуда для цвѣтовъ, купленная по случаю.

Сумрачно, грустно и тихо; всякій шумъ сейчасъ же глохнетъ, онъ звучитъ отдѣльно, не смѣшиваясь съ этой густой, крѣпко-устоявшейся, тишиной. Здѣсь горько спокойно, прохладно и утѣшительно, какъ въ ломбардѣ или въ аукціонномъ залѣ, когда публика еще не собралась. Ибо какъ тамъ, такъ и здѣсь, благодаря наваленнымъ со всего свѣта предметамъ человѣка, скрещиваются атмосферы разныхъ жилищъ, расъ, племенъ и людей, — ихъ владѣльцевъ, — знаменуя

бренность всѣхъ вещей, временность земныхъ привязанностей и ихъ превратность. Объ отрѣшенiи, о старости, о нищетѣ, — вспоминала, оглядывая эти непроницаемыя для воздуха стѣны, пока мѣшковатый хозяинъ, съ непрiятно-сырымъ, застѣнчивымъ и растерянным лицомъ, стоя писалъ записку.

Онучинъ барабанилъ пальцами по ручкѣ креселъ; у него хватило такта до конца оставаясь постороннимъ наблюдателемъ, не подать и виду, что мы съ нимъ знакомы. У его ногъ, на полу, блестѣлъ серебряными замками большой синей кожи несессеръ и лежали двѣ тенисныя ракеты.

Л. Шацъ мнѣ протянулъ карточку со словами: «Не опоздайте только. Вы ему покажете вашу работу. . .», и повелъ меня къ дверямъ, — прежде чѣмъ сообразила, что бы еще добавить, укрѣпляющаго мои позиціи, она прикрылась.

Я устроилась въ угловомъ кафэ: оттуда видны ворота № 13. Какой номеръ. «Это къ счастью» — убѣждаю себя. «Здѣсь я дождусь Онучина. Узнаю, какія возможности, впечатлѣнія; условлюсь, — что, да какъ. Только бы не пропустить; глядѣть въ оба».

Въ сердцѣ начало предательски, тягуче покалывать. Сперва несерьезно, съ перерывами: кольнетъ да перестанетъ, увильнетъ боль. Потомъ все шире и шире, все грознѣе и суровѣе, острымъ, нестерпимымъ ожогомъ, — какъ же дышать?! Задержу дыханіе, — словно легче; но душно, душно: вѣдь нельзя! Дохну, — смертельный уколъ насквозь. Хочется лечь, зарыться головой въ холодную землю, замерзнуть, пока не пройдетъ. Нѣтъ, не въ землю, а въ кислородъ. Дышать чистымъ озономъ. Этотъ перегаръ доканаетъ хоть кого. Ахъ, въ поле бы, вольнаго вѣтра, вечерняго мира.

— Павелъ Кондратьевичъ, гдѣ вы теперь, думаете ли вы обо мнѣ? Я сейчасъ упаду.

Душно. Ду-у-у-ш-ш-но. Разорвусь. Сердце выпрыгнетъ. Нѣтъ: разорвется; разорвется. Разо-р-р-вется. Сейчасъ или когда-нибудь?! Когда-нибудь или сейчасъ.

Не дышать — задохнешься. Дышать — больно. Свистящей, ноющей, дурной, специфической болью.

Лечь бы. Лечь бы. Застыть. Переждать. Пускай смотрятъ. Вѣдь одно неловкое движеніе и, — конецъ. Неуютный конецъ въ дешевомъ кафэ.

Подбадриваю себя. Рядомъ стоитъ черное кофе. Неужели мое? Противное, тепловато-горькое. Дотрагиваюсь до ложечки, — металлическій ледокъ. Незамѣтно просовываю ее за декольтэ, глажу холоднымъ у сердца. Гарсонъ недовольно и пристально всматривается. Заказываю «demi» и смѣюсь, — смѣяться можно: нельзя только дышать, а все остальное какъ бы — здоровое. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь смѣшно, можетъ черезъ минуту я умру, и все же я какъ ни въ чемъ не бывало приказываю гарсону, а ему и невдомекъ.

Только бы меня не трогали. Тише. Ти-ше. Ти-иише.

Глотаю горькое, студеное пиво. Понемногу, нехотя, — сердце неувѣренно крѣпнетъ, удары выравниваются. Боль глохнетъ, отступаетъ внизъ, на самое дно глубокаго вдыханія: значитъ надо дышать поверхностно, — тогда легко. Какая радость... Я готова благословлять каждую крупинку жизни. Люблю всѣхъ людей; благодарна всѣмъ за спасеніе.

Постепенно овладѣваю собой. Облегченно оглядываюсь по сторонамъ. Какъ жарко; въ зеркалѣ отра-

жено лицо: зеленое, скомканное, влажное, съ огромными глазами, на переносицѣ блеститъ испарина.

Съ оттѣнкомъ независимости поправляю платье, пудрюсь, небрежно снимаю и надѣваю новыя, лайковыя перчатки. Лакей удовлетворенно зѣваетъ и отворачивается.

Зимній день умираетъ. Незамѣтно разливается вечеръ: только что онъ робкимъ гостемъ подошелъ къ порогу, а вотъ уже грубо развалился хозяиномъ и задралъ ноги. Моросить дождь. Туманъ, смѣшиваясь съ дымомъ города, образуетъ сырой студень, гдѣ вязнутъ и слѣпо бьются шумы улицы. Зажигаютъ фонари. Какъ жалостно это послѣднее колебаніе вѣсовъ, — переходъ, — первое мгновеніе искусственнаго свѣта. Сгущаются тѣни, вокругъ лампъ виснутъ пепельные, мглистые шары, наполненные порхающей водяной пылью. Въ такой вечеръ хорошо быть среди близкихъ, одѣться въ боты, въ плащъ, итти объ руку, смѣясь и лукавя, потомъ слушать ніанино, читать стихи.

Конечно я бы пропустила Онучина: это онъ меня замѣтилъ и окликнулъ.

Онъ догадался, что я гдѣ-нибудь поблизости околачиваюсь, жду его. Дѣло — дрянь. Ленька одного уже принялъ, а второго ищетъ опытнаго; кромѣ того ему обѣщали надбавку, поэтому онъ рьяно служитъ, является ежедневно на разсвѣтѣ, — такъ что подготовиться къ «экзамену» въ ателье нечего и думать.

— Спиральки, — говоритъ Онучинъ, — это пустякъ. Тутъ и учиться нечему, ей Богу.

Опять я покорно слушаю, всѣмъ тѣломъ слѣдя за его губами: начнетъ онъ слово, а я вся наклоняюсь впередъ, — подталкиваю.

— Выходъ такой, — рѣшаетъ Онучинъ:

Есть одинъ добрый знакомый, предприниматель, владѣлецъ аэрографа; я пойду къ нему съ письмомъ Онучина, можетъ тотъ не откажетъ, — разрѣшитъ «пострѣлять» у себя.

— Видите ли, — конфиденціально наклоняется Онучинъ. Его взглядъ встрѣчается съ моимъ, онъ что-то вспоминаетъ и кладетъ свою руку на мою, гладитъ некрасивой, испачканной спиртными красками, сырой ладонью. У него пестрые пальцы съ обгрызанными до крови ногтями. — Видите, въ чемъ дѣло,

онъ простой человѣкъ изъ старыхъ, такъ что очень любитъ «интеллигенцію»: нуждается человѣкъ, образованный, изъ хорошей семьи, всегда поможетъ. Онъ еврей. И понимаете, — Онучинъ перешелъ на шепотъ: — еврею онъ всегда поможетъ. Даже денегъ дастъ. Вотъ, — отвелъ Онучинъ глаза. — Хорошо бы васъ отрекомендовать какъ еврейку.

— Какъ же...

— Это не трудно. Тутъ все перемѣшалось. Нынче по лицу не судятъ! — убѣждалъ Онучинъ, улыбаясь, съ той особенной своей теплотой, которая чувствуется вотъ, вотъ пройдетъ, оборвется и онъ останется равподушнымъ или увлеченнымъ другимъ увальнемъ. — Вы молчите. А я только намекну, черкну: «Изъ вашихъ», либо «свой человѣкъ». Онъ уже пойметъ. Разговаривать объ этомъ не станетъ: онъ радъ помочь. Это ему только нужно для какой-то особенной совѣсти. Когда случается вотъ такая безкорыстная морока, онъ самъ себя и жена всегда спрашиваютъ: «ну, зачѣмъ это нужно было?» А тутъ и отвѣтъ готовъ: какъ же своему не помочь? — Онучинъ хохоча началъ разсказывать ихъ совмѣстныя похожденія; они вдвоемъ обманули кого-то — перепродали смывающуюся краску: Онучина всѣ возненавидѣли и долго мстили; Исаака же Лазаревича всѣ продолжаютъ любить и уважать, — такъ легко, такъ мягко, такъ человѣчно тотъ умѣетъ жульничать.

Онучинъ пилъ кофе, жадно заѣдая круассаномъ: онъ еще сегодня не обѣдалъ. Осторожно, запинаясь, я его просила не писать Исааку Лазаревичу, а лучше съѣздить намъ вмѣстѣ: «можетъ онъ занятъ, отсутствуетъ, боленъ; вѣдь мнѣ завтра въ восемь, — на

испытаніе. Если вы не особенно спѣшите, пожалуйста, проводите меня»...

Онучинъ оглядѣлъ меня съ интересомъ, хитро усмѣхнулся, потомъ насупился. «Хорошо, я пойду!» — мирно согласился. «Только кофе еще закажу». Кофе пилъ онъ безъ сахару: зубы у него разбаливаются отъ сладкаго, — лѣчить же ихъ онъ, конечно, не догадывается. Круассаны въ его рукахъ окрашивались въ фіолетовые тона. Стараясь не замѣчать эти неряшливыя повадки, я подбирала незатѣйливыя фразы, которыя могли укрѣпить въ немъ принятое рѣшеніе.

Онъ допилъ, доѣлъ послѣднія крошки, осклабился на свой блестящій чемоданъ съ ракетами и сказалъ:

— Вотъ, мнѣ въ теннисъ сейчасъ играть, на закрытомъ кортѣ, а изъ-за васъ... Я вѣдь за это деньги плачу.

Затѣмъ мы поѣхали на Odéon. Тамъ Онучинъ снова пилъ у стойки кофе. Я дожидалась на улицѣ.

— Мнѣ бы сейчасъ въ теннисъ играть на закрытомъ кортѣ, — объяснилъ онъ, выйдя изъ кафэ.

Молча, мы свернули на улицу Mazarine; долго разыскивали квартиру; попали, наконецъ, въ странное помѣщеніе, похожее на лавку послѣ разгрома или банкротства. Намъ поднялся навстрѣчу лысый юноша съ добрымъ глуповатымъ лицомъ, съ горбатымъ, слегка искривленнымъ носомъ, придававшимъ ему выраженіе смазливой чувственности.

— Здравствуйте, Исаакъ Лазаревичъ! — самымъ радушнымъ, задушевнымъ раскатомъ поздоровался Онучинъ.

Нельзя сказать, что-бъ Исаакъ Лазаревичъ намъ обрадовался: стоялъ неподвижно, не мигая, молча насъ разглядывая. Даже когда Онучинъ кончилъ свои объясненія, онъ все еще съ добрую минуту изумленно чего-то дожидался, какъ бы не довѣряя. Потомъ встряхнулся и, заикаясь, обращаясь исключительно ко мнѣ, очень вѣжливо выразилъ свое согласіе.

Возникли нѣкоторыя техническія затрудненія: въ мастерскую Исаакъ Лазаревичъ насъ не могъ впустить, — тамъ хранятся разные секреты, которые Онучинъ не преминетъ расшифровать. Съ общаго согласія рѣшили установить аппаратъ тутъ же, въ конторѣ. Пришлось кое-что убрать, отодвинуть. Исаакъ Лазаревичъ былъ въ достаточной мѣрѣ любезенъ. Юркнулъ вглубь, вверхъ, нырнулъ по лѣстницe внизъ. Пыхтя, битюгомъ, притащилъ огромный снарядъ со сжатымъ газомъ. Я суетилась, старалась помочь, чувствуя, что мѣшаю.

«Пистолетъ» — дѣйствительно похожій на маузеръ — соединенный кишкой съ баллономъ, заряжался краской. Струя газа распыляла, стекающую отъ нажима гашетки краску, на миріады ровныхъ брызгъ. Подстелили листъ упаковочной бумаги. Онучинъ сбивчиво объясняя, сдѣлалъ нѣсколько рисунковъ и передалъ приборъ мнѣ. Я нажала собачку; съ мокрымъ звукомъ дуло выплюнуло кляксу. Онучинъ захохоталъ. Нѣтъ, онъ не можетъ смотрѣть. Ха-ха-ха-ха. Вѣдь такъ просто. Исаакъ Лазаревичъ отстранилъ Онучина. Спокойно растолковалъ. Его взглядъ знающаго себѣ цѣну человѣка, со сдержаннымъ достоинствомъ скользилъ, не задерживаясь, по мнѣ, стараясь внушить, ободрить. Онъ придерживалъ мѣшав-

шую кишку, направлялъ руку, серьезно приговаривая: «Ничего, ничего, привыкните». И я начертила первый контуръ: почувствовала тяжесть гашетки, соразмѣрила. Меня похвалили. Раскраснѣвшаяся, гордая, я съ четверть часа водила дуломъ, въ упоръ разстрѣливая бюваръ. Научилась Ленькинымъ спиралямъ (о какъ я его боялась); медленно водила всей рукой (до плеча), покрывая «большое пространство». «Пистолетъ» закашлялъ, зашипѣлъ, зафыркалъ. «Краски мало», — отвернувшись къ стѣнѣ буркнулъ Онучинъ. Исаакъ Лазаревичъ покраснѣлъ и долилъ краски.

Наконецъ, Онучинъ рѣшилъ: «Будетъ!»; — потомъ засуетился: «Благодарите, благодарите любезнаго Исаака Лазаревича!» — напыщено повторялъ онъ. Я поблагодарила. Исаакъ Лазаровичъ сконфуженно кланялся; снова замелькалъ вглубь, вверхъ, нырнулъ по лѣстницѣ внизъ, разставляя приборы по мѣстамъ.

Мы вышли. Вверху темнѣло ночное небо, кудлатое, злое, такое далекое, что сердце медленно сжималось: не догонишь, не достанешь, никакъ, ни къ чему.

«Вечеръ, холодно. Цѣлый день не ѣла горячаго. У Porte de Versailles сумрачная, нетопленная камера. Завтра къ восьми на Cadet, экзаменоваться у Леньки. Ну зачѣмъ, ну зачѣмъ я живу?»

Вагоны бросало, съ желѣзной рьяностью. До Монпарнасса надоѣдаютъ святые: St. Germain, St. Sulpice, St. Placide... А тамъ идутъ крылатыя станцiи Volontaires, Vaugirard, Convention. Колеса взвизгиваютъ на стыкахъ рельсъ. Онѣ угрюмо что-то одно повторяютъ, захлебываются. Можно найти подъ ихъ музыку слова. Я долго подбираю:

«Это время, мой другъ, это время бѣжитъ —».

. . . .

За полчаса до восьми я уже караулила подступы къ ателье. Видѣла, какъ спѣша въ подворотню вбѣгали люди. Это Ленька? Это Ленька? — гадала. Безъ пяти восемь свершила свой жалкій ритуалъ: подкрѣпилась круассаномъ, напудрилась, накрасила губы, — чтобъ не имѣть такого несчастнаго вида.

Ателье гнѣздилось разумѣется высоко. Дурной знакъ. Мое сердце шумѣло, преодолѣвая крутую лѣстницу.

О чемъ думаешь, поднимаясь вотъ такъ на пятый этажъ? Память не удержала. Комокъ, гдѣ въ сплетеніи символовъ мелькаютъ обрывки мыслей, звуковъ, запаховъ; попурри изъ прошлаго и настоящаго, изъ серьезнаго и незначительнаго. Скверно. Тошно. И должно быть, чтобъ скорѣе отдѣлаться отъ этого сумбура, я такъ невоздержанно быстро взбѣгаю наверхъ.

У двери остановилась было отдышаться, передохнуть, но сердце отъ всяческихъ предчувствій такъ взволнованно и растерянно барабанило, что не размышляя, я дернулась впередъ, — скорѣе ужъ.

Вошла въ малую, свѣтлую комнату, гдѣ на лавкѣ въ позѣ людей, пришедшихъ по объявленію, сидѣли двѣ дамы. Часы показывали восемь пятнадцать. Пахло шелкомъ и денатуратомъ.

Подошедшая дѣвушка въ сиреневомъ халатѣ прочла мою записку и строго приказала подождать.

Я сѣла, незамѣтно оглядывая соперницъ. Гадкое чувство. Видишь, — вонъ у одной стоптаны каблуки лѣтнихъ туфель, а у другой — такое прозрачное анемичное лицо, что въ пору подойти и согрѣть ее своею

кровью. Онѣ сидятъ рядомъ, но не разговариваютъ, не смотрятъ: пришли отдѣльно и разойдутся, каждая въ свою сторону. Всѣмъ намъ вѣрно другъ друга жалко, но очереди не уступишь: косо поковыряешь взглядомъ ихъ сумочки и сокрушенно подумаешь, — «А что у нихъ тамъ? Есть ли позволеніе работать? Какое удостовѣреніе хранится?» Подумаешь и ожесточишься. Какъ это трудно: жалѣешь, а хочешь отнять насущный хлѣбъ. Иногда и самую жизнь. Кому нужнѣе? Развѣ на такое отвѣтишь?

Мимо прошелъ Онучинъ. Не поклонился, казалось неодобрительно поглядѣлъ. Изъ мастерской вышелъ крупный, гладкій мужчина и дѣланно-весело разсмѣявшись брякнулъ:

— Ну я принятъ. Только жалованіе малое.

Маленькій черный, широкоплечій человѣкъ, гномъ, съ заячьей губой и такимъ взглядомъ, какой бываетъ у горбуновъ или уродовъ, показался на порогѣ:

— Чья очередь?

«Ленька!» — догадалась.

Одна изъ дожидавшися метнулась, засуетилась и скрылась въ дверяхъ. Потомъ вторая. Онѣ появлялись, собирали вещи: горжетку, зонтикъ. . . и тяжело стуча каблуками, уходили. Грустно и безжалостно звучали ихъ шаги: больше никогда не встрѣтимся. А хотѣлось вывѣдать, — что же сказали?

Я встала, — сейчасъ!

Ленька все не показывался. Ужасно. Сразу бы, — головой въ омутъ. Какъ трудно оставаться неподвижной. Съ мольбой ощупывала свою правую руку, — указательный палецъ, — она сейчасъ будетъ «стрѣлять». Словно кипятокъ разливается отъ солнечнаго

сплетенія, вверхъ, развѣтвляясь. Подъ мышками ко-летъ. Угомонись — сердце, невыносимое.

«А не убѣжать ли мнѣ?» — мелькнула такая простая, такая благая мысль, что отъ одной этой возможности я вся засвѣтилась.

— Очередь чья? — донеслось буднично и раздраженно.

Я шагнула на голосъ. Ленька удивленно отступилъ, должно быть пораженный моимъ въ сущности весьма примѣчательнымъ видомъ (какъ нищенски мало выражаетъ человѣческій обликъ).

Ленька угрюмо читалъ записку своего принципала. Опытъ просительницы меня научилъ, что человѣкъ часто становится такимъ, какимъ его мыслишь: если въ глазахъ затаено, — «ты хамъ и дуракъ», то онъ дѣйствительно превращается въ таковаго. Глядя на Леньку я твердила: «Какой ты добрый, какой ты умный, какъ Богъ тебя любитъ».

Мы вошли въ мастерскую, — свѣтлый баракъ во много оконъ. Тянулись длинные и потому узкіе столы, за которыми хлопотали декораторы. Меня вели въ пустынный конецъ, откуда устрашающе глядѣли контуры аэрографа, — съ такимъ чувствомъ смертникъ шагаетъ къ гильотинѣ.

— Вы сдѣлаете нѣсколько такихъ штучекъ, — равнодушно предложилъ Ленька и ловко вывелъ рядъ петель. То не была спираль. То былъ спирально разматывающій квадратъ.

Безпомощно оглянулась. Кругомъ люди дѣловито трудились. Тепло, какъ-то по особенному уютно. Такъ захотѣлось вдругъ здѣсь остаться, навсегда, обжиться, обвыкнуть.

— Вы гдѣ прежде работали аэрографомъ? — спросилъ Ленька, поводя головой такъ, словно чувствуя на лбу тяжелые рога.

— У Жака.

— Это какой?

— На Клиши, — едва слышно солгала. Рѣшительно мнѣ становилось дурно: холодъ изнутри, изъ кишекъ, заливалъ меня, вызывая тоскливую дрожь, переходящую въ спазмы; я пересиливала ихъ, — сжималась въ комокъ, старалась не дышать. Протянувъ руку, подняла пистолетъ, но тутъ же бросила, — къ

горлу подкатилъ комъ. Всхлипнула и прижала руки къ лицу. Изъ глазъ, изъ носа, изо рта, потекли рвота, сопли, слезы.

— Вамъ дурно? Вамъ дурно? — допытывался Ленька съ такимъ видомъ, точно отвѣть я: нѣтъ... и онъ успокоится.

Изъ всѣхъ угловъ отдѣленій, перегородокъ насъ щупали безчисленные глаза. Мелькнула склонившаяся съ галлереи вихрастая голова Онучина.

Ленька меня полуобнялъ и потянулъ за собой: — пойдемте, отдохните, испейте воды.

— Нѣтъ, нѣтъ, сейчасъ! — безтолково, но упрямо я твердила, цѣпляясь за «пистолетъ», чувствуя, что отойти нельзя, что все потеряно. Затравленная, блѣдная, мокрая, я была вѣроятна очень жалка и все же продолжала бороться: стала въ позицію, занесла аппаратъ.

Но второй припадокъ надломилъ меня всю какъ-то пополамъ: я скрючилась, икнула, всхлипнула... И поднесла ладони ковшиками къ лицу. Ленька меня усердно тянулъ за собой. Мы заковыляли къ дверямъ: онъ низенькій, я высокая. Кругомъ глазѣли люди.

— Садитесь, — шепталъ Ленька, толкая меня въ маленькую клѣтушку.

Сѣла, все не отнимая рукъ отъ лица, — тщась уйти, спрятаться, провалиться сквозь землю.

— «Воды!» — скомандовалъ Ленька.

— Оставьте меня. Ради Бога! — взмолилась. — Это пройдетъ.

Онъ послушался и вышелъ. Я все продолжала сидѣть въ той же позѣ. Приступъ уже миновалъ, но не хотѣлось двигаться, говорить, что-то опять дѣлать:

только бы не шевелиться, не жить, не обращать на себя вниманія.

Украдкой оглянулась: маленькая коморка, газовая машинка, — кухня? Двѣ двери, черезъ одну мы вошли, вторая вѣроятно на лѣстницу. Я не могу больше показаться на глаза этимъ людямъ. Воспоминаніе о трусливо-укоризненной мордѣ Онучина, свѣсившейся съ перилъ, вызывало краску стыда и бѣшенства. Тихо поднялась, пріоткрыла дверь и со всѣхъ ногъ рванулась внизъ, скользя на поворотахъ, мечтая сломать наконецъ шею, превратиться въ безчувственный костякъ.

Мои перчатки, мои лайковыя перчатки, остались въ пріемной на столѣ.

По улицѣ разливался туманъ. День выглядѣлъ вечеромъ. Я шла не разбирая дороги. Послѣ завтрака, — была суббота, — измѣнились одежда, походка, выраженіе лицъ прохожихъ. Показались гуляющія семьи; въ колясках паразитически пяля глаза, лежали младенцы. Въ кафэ играла музыка. они быстро наполнялись, счастливыми своей свободой, развлекающимися обывателями. Вырвавшись изъ скучной конторы, изъ зловонной лабораторіи, изъ рѣзко освѣщенной мастерской, толпа теперь торопилась взять все, что можно отъ жизни: до понедѣльника, до понедѣльника.

Мужчина съ дерзкими, спокойными глазами спортсмена, стройный, въ сѣромъ, дорогомъ пальто, прошелъ навстрѣчу. Я пристально поглядѣла; онъ оглянулся; я тоже. Вѣроятно мой взглядъ былъ выразителенъ: онъ повернулъ и вкрадчиво послѣдовалъ за мною, то нагоняя, то отставая.

6*

Трудно растолковать мое состояніе: разумѣется, въ какомъ-то смыслѣ, я не владѣла собою, но въ то же время все замѣчала, все запоминала, будто даже съ удесятеренной силой. Я дрожала, ощущая на себѣ его настойчивый взглядъ: казалось, что меня ощупываютъ со всѣхъ сторонъ, поднимаютъ, взвѣшиваютъ, оглаживаютъ. Отдѣльныя части моего тѣла истерически дергались. Я шла какъ по горячимъ углямъ. И все же, какая-то сила заставляла меня оборачиваться, ободряюще кивать, зазывающе подмигивать. Чѣмъ энергичнѣе я дѣйствовала, тѣмъ нерѣшительнѣе и робче становился преслѣдовавшій меня. Я же краснѣла отъ нетерпѣнія, жестикулируя цинично и грубо. Наконецъ, я какъ-то вильнула бедрами изъ стороны въ сторону. Не знаю, изобрѣла ли я это движеніе, или подмѣтила на бульварахъ, можетъ инстинктъ мнѣ его подсказалъ? Символически онъ могъ обозначать: половую нѣгу, обѣщаніе совершеннаго удовлетворенія. Спортсменъ въ сѣромъ пальто повернулъ и рѣшительно зашагалъ прочь. Кажется я еще пробовала его догонять.

Очнулась подлѣ Сены. Рѣка упруго катила волны. Вода бѣжала, вода ни минуты не стояла. И въ этомъ таился роковой смыслъ, строгое предостереженіе, обѣщаніе. И тутъ вдругъ, — впервые безо всякаго кокетства и обмана, — ясно мелькнула, обожгла возможность исхода: «а вѣдь на днѣ должно быть покойно!» Я облокотилась о парапетъ, завороженно созерцая открывающуюся внутреннему взору, новую путину.

Сена катила волны; неумолимо вода все неслась; стремительно бѣжала; озабоченно всплескивала. Ни минуты не задерживалась она. Вотъ эти волны были

для кого-то вчера, у истока, тѣмъ чѣмъ для меня, — сегодня. Онѣ вѣщали о томъ, что все мѣняется, все уходитъ: рѣка въ море, день въ день, горе въ радость. Еще о многомъ, объ одномъ. О быстротечности времени: какъ ни спѣшить, — не догонишь. И кроткая надежда: можетъ въ этой подвижности есть постоянство. Мнѣ трудно повторить, но студеная Сена въ этотъ вечерній часъ катящая, съ глухимъ стономъ, въ тѣсномъ ложѣ, зимнія воды, несла съ собой почти откровеніе: я словно почувствовала за спиною своей, широкія синія крылья и небо многопудовой тяжестью навалившееся на нихъ.

«Я вернусь. Твоя!» — рѣшила, отрываясь отъ каменной ограды. Торжественная, нерушимая печаль поднимала меня: я не чувствовала больше земли подъ ногами.

Горѣли огни театровъ Шателэ и Сарры Бернаръ. На площади Saint Michel Архангелъ Михаилъ, почти грѣховно улыбаясь, пронзалъ повергнутаго дьявола; изъ пасти драконовъ яростно били фонтаны. Prix fixe-ы наполнялись стадомъ — жующихъ. И вдругъ я, — словно токъ пронесся, — ощутила всю себя; отъ головы до пальцевъ ногъ; на тротуарѣ; вечеромъ, голодную; озябшую, одну. Какъ бы увидѣла свою сердцевину въ анъ фасъ и въ профиль. Жалость, — къ себѣ, къ своему тѣлу, къ своимъ красивымъ волосамъ, зря — никому — пропадающимъ, къ своему будущему — оно замаячило, выступило, какъ при молніи, очертанія прибрежныхъ скалъ — ударила меня, потрясла до корней. Я подняла голову, прислушиваясь къ внутренней боли: всѣ ополчились, гибну! И вдругъ, изъ-за этой боли, на карнизахъ души въ мансардѣ,

въ погребѣ ея, подъ спудомъ, шевельнулось что то безформенное, огненно радостное, пронзающее: гордость, экстазъ... поднялись, мелькнули и пропали недоразгаданные.

Куда итти?

Домой. «Домой», повторила и направилась къ метро. Видитъ Богъ, съ какимъ ужасомъ, отвращеніемъ я спускалась въ подземелье; чего бы только не дала, чтобы въ этомъ состояніи тошноты, полуобморока, полуистерики, избѣгнуть страшнаго, отвратительнаго ада. Но выбора не было. Я предчувствовала, — поѣздка, гдѣ необходимъ какой-то запасъ душевныхъ силъ, чтобы преодолѣть очередныя униженія и преграды, мнѣ сейчасъ не по силамъ; но автоматически, рефлексомъ, ноги меня снесли на ненавистный перронъ.

Вотъ уже нѣкоторое время, какъ путешествія подъ землей превратились окончательно въ пытку, благодаря скотскимъ приставаніямъ мужчинъ. И раньше случалось, меня дергали за руку, говорили похабныя любезности, шлепали по заду и приходилось умѣрять свою ярость разсужденіями, что вѣдь люди эти изъ самыхъ низовъ, — по ихнему это даже комплиментъ, — а у насъ низы и того хуже себя ведутъ. Оттого ли, что обновивъ туалетъ, я выглядѣла приличнѣе, или, что всего вѣроятнѣе, тутъ играли роль «сезонныя» причины, — наступалъ мартъ, — злоупотребленія приняли вопіющія формы. Женщина многое замѣчаетъ и не любитъ распространяться на этотъ счетъ. Но безобразія превышали границы допустимаго. Собачьи свадьбы. И уйти некуда: кругомъ слипшаяся толпа, — одно воспоминаніе о которой было теперь мучи-

тельно, по тѣмъ же — возможно — непонятнымъ причинамъ, по какимъ я только что, на улицѣ, преслѣдовала мужчину.

И конечно, въ пути мнѣ стало дурно. Укачало, затошнило. Я не упала только потому, что успѣла во время за что-то уцѣпиться; начало рвать. Не хватало воли поднести платокъ ко рту. Коренастый, должно быть невѣроятно сильный, широкоскулый человѣкъ (мнѣ отчего то подумалось, что онъ служилъ въ подводномъ флотѣ), подошелъ со словами участія, предложилъ свою помощь.

На первой остановкѣ я выскочила изъ вагона (позже я узнала, что тутъ было нѣчто осмысленнѣе простого «стыда»), сѣла въ другой вагонъ того же состава. Снова приступъ тошноты; пересиливала себя, гнула, ломала, уговаривала. На очередной остановкѣ подошелъ все тотъ же «морякъ». Онъ слѣдилъ за мною: нельзя же такъ оставить человѣка. Онъ во мнѣ тотчасъ же узналъ русскую. «Мы соотечественники» — сказалъ, и это слово меня поразило.

Мы вышли изъ вагона. Я хотѣла отдохнуть на скамьѣ, а затѣмъ продолжать путь. Онъ настаивалъ: «нужно подняться на чистый воздухъ»! Я протестовала. Онъ меня почти силой вынесъ наружу; кликнулъ такси, усадилъ, заставилъ дать адресъ, — ласково, но какъ-то увѣренно и привычно.

Мы ѣхали по какой-то извилистой, темной и безконечной улицѣ, или то былъ рядъ улицъ, другъ друга продолжавшихъ. Я лежала почти безъ сознанія, кололо въ сердцѣ на вылетъ. Онъ меня обнялъ и началъ цѣловать, потомъ задернулъ занавѣски и изнасило-

валъ. Я не могла шевельнуться. Въ груди жалобно и безразлично ныло сердце.

Соотечественникъ меня столкнулъ на тротуаръ. — Дѣточка! — сказалъ онъ заботливо, умиленно, и умчался.

До отеля оставалось нѣсколько минутъ ходьбы. Прошелъ ли часъ или сутки до того, какъ я попала къ себѣ, не знаю. Со стѣны комнаты глядѣло подслѣповатое, виновато мигающее лицо Кондратія Павловича. Проходя мимо, я зачѣмъ-то сорвала фотографію и швырнула въ сорную корзинку.

Кажется на слѣдующій день, отчетливо постучавъ, въ номеръ вошелъ «морякъ». Я глазамъ не повѣрила; обомлѣла, въ ярости и въ испугѣ.

— Однако вы лихой воинъ, — сказала. Кто за меня заступится?

Онъ пришелъ извиниться; объяснить: былъ пьянъ, къ тому же контуженъ въ голову. Совѣсть ему не даетъ покоя; долженъ вымолить прощеніе. Онъ мнѣ все растолкуетъ: это сложныя «нѣдра».

— Я преступникъ, — угрюмо сообщилъ онъ.

— Ступайте вонъ! — крикнула, что было силы, распахнувъ настежь дверь. — Патронъ!

Ушелъ.

А вечеромъ снова постучали.

Я выглянула и опять столкнулась съ нимъ; рядомъ стояла дама. Онъ что-то объясняюще помахалъ рукой и убѣжалъ. Женщина нерѣшительно, но насѣдая на меня, вошла въ комнату. «Я ему жена» — объяснила.

— Мнѣ отъ этого не легче. Какъ вы смѣете издѣваться?! — (я заплакала).

— Мы сожалѣемъ очень, — возразила она покорно. — Я пришла если можно, познакомиться. Со мной то же когда-то было.

Она просидѣла до поздней ночи. Разсказывала все о себѣ, — унылое, — сестра милосердія: война — брюшной тифъ, революція — сыпной, эвакуація — возвратный. Мужъ: капитанъ артиллеріи, раненъ въ голову, эпилептикъ, пріученный болями къ наркотикамъ. На его заработки расчитывать не приходится (карты, бѣга, свипстайкъ). Неотвѣтственъ за свои поступки, — его нельзя отпускать одного: — однажды стрѣлялъ въ шоффера, обругавшаго его. Кормить надо семью: двое дѣтей, — старшей — одиннадцать лѣтъ. Онѣ всѣ плетутъ соломенныя туфли. Дамская лѣтняя обувь. Она антропософка.

Я заявила, что если имъ это важно, то пусть, я прощаю ея мужа, но видѣть его не хочу. Она согласилась, сказала, что онъ самъ понимаетъ и только проситъ не разочаровываться въ искренности людского участія, что когда меня уговаривалъ возвращаться въ такси, онъ ничего въ мысляхъ не имѣлъ кромѣ хорошаго, а потомъ вдругъ «нашло» и никакъ не объяснишь, только онъ офицеръ и готовъ умереть отъ мысли, что обидѣлъ довѣрившагося ему.

Не разспрашивая, она догадалась о матерьяльныхъ условіяхъ («объявленія», «анонсы») и предложила давать на домъ плести туфли. Я пробовала уклониться, но она настаивала, говоря, — что мы теперь очень близкія, она чувствуетъ и свою отвѣтственность: такъ всѣмъ будетъ легче. Это мнѣ показалось справедливымъ. Я рѣшила, временно, принять помощь въ которой уже не нуждалась.

Пробовала обинякомъ задать еще нѣсколько вопросовъ, но видя, какое впечатлѣніе это производитъ на меня, она несмотря на свое законное, пожалуй, любопытство, осѣклась.

Недѣли полторы я работала по новой специальности. Я плела обувь, часто улыбаясь мысли, что никогда дама, которая ее примѣритъ, не догадается черезъ какое сплетеніе страстей, подлости, величія и смиренія, прошла эта пара туфель, прежде чѣмъ къ ней попасть: не ремни, а вѣнчикъ изъ живыхъ душъ обниметъ ея ногу.

За двѣнадцатичасовый, (истошный), рабочій день можно было выгнать двадцать франковъ. Не всегда были заказы: Аннѣ Григорьевнѣ очевидно было трудно выкраивать что-нибудь и для меня. Все-же, она силилась это дѣлать.

Одна отрада, дѣвочка.

Дни когда приходила Галочка, — ея дочь, — съ матерьяломъ, превратились въ праздники: я ее полюбила. Ласковый, грустный, большеглазый гномъ. Мнѣ все не хотѣлось лишать себя этой, вѣроятно, послѣдней радости; и я терпѣливо ждала близкаго, естественнаго конца. Онъ наступилъ.

Какъ-то она не явилась въ условленный часъ. Миновалъ день, два; прибыло письмо отъ Анны Григорьевны. Изъ Бельгіи. Мужъ чего-то опять набуянилъ, нагрубилъ чиновнику, такое несчастье, — выслали. Она никогда меня не забудетъ.

У меня осталось нѣсколько паръ незаконченной обуви, — продала ихъ, выручила что-то около ста франковъ. Ничего больше не обдумывала, не рѣшала, само собой отстоялось: я ничего не предприму для спасенія.

Въ эти дни, свободная, — какъ никогда, ото всего, что обрамляетъ жизнь, я бродила безъ устали по городу, закусывая, подкрѣпляясь на ходу, все кружа возлѣ Сены: я ее исходила далеко вверхъ и внизъ, знакомясь и примѣриваясь, бесѣдуя съ ней какъ съ роднымъ, дорогимъ существомъ, матерью или сестрой, близкой, но не совсѣмъ понятной и нелюбимой.

Слоняясь преимущественно въ малолюдныхъ мѣстахъ, я никогда не встрѣчала знакомыхъ. Разъ только столкнулась, — лобъ въ лобъ, — со старымъ сослуживцемъ: съ «паралитикомъ». Пришлось остановиться. Послѣ первыхъ словъ привѣтствія, онъ сразу началъ меня убѣждать (точно я уже разъ отказалась) своимъ тихимъ, настойчивымъ голосомъ:

— Идемте, Идемте!

— Куда?

— Да къ намъ. На собраніе. Къ евангелистамъ.

Я подумала и согласилась. Несмотря на дальній путь, шли мы разумѣется пѣшкомъ, — на этомъ настоялъ «паралитикъ». Къ моему удивленію двигался онъ быстро, почти бѣжалъ, согнувшись и прихрамывая. Къ началу, все таки, опоздали.

Немолодой, съ виду упитанный, проповѣдникъ, съ очень несимпатичнымъ лицомъ, говорилъ громкимъ, яснымъ , должно быть, проникновеннымъ голосомъ. Какъ я скоро поняла, онъ разсказывалъ о себѣ, о томъ, какъ пришелъ къ своей теперешней вѣрѣ. Въ его словахъ не было ничего глубокомысленнаго или чудеснаго, но они казались сильными и убѣдительными, своей простотой, точностью, внутреннею правдивостью и какой-то вразумительной зоркостью. Онъ разсказывалъ, какъ въ молодости ужаснулся злу и безпомощности

окружающаго. Ему хотѣлось, — были силы, — стать лучше, совершеннѣе. Естественно, онъ обратился къ наукѣ, но знаніе не научило его честности. Онъ сталъ соціалистомъ, но отъ этого не творилъ меньше зла. Тогда онъ обратился къ ученію Толстого. Этотъ путь, казалось, все разрѣшаетъ. Надо принять соціально-нравственную часть ученія Новаго Завѣта.

Это вѣрно, но гдѣ взять умѣніе любить другъ друга? Откуда черпать силы не прелюбодѣйствовать въ мысляхъ, не творить дурного, не безчинствовать? Все хорошо, но какъ это выполнить? Обо что опереться, за что уцѣпиться? Собственныхъ силъ не хватало. Такъ родился его союзъ съ Богомъ, Христомъ.

Эти слова были просты, не мудрены, за ними чувствовался большой, житейскій опытъ, даже мудрость, и главное они какъ-то безпощадно мѣтко ударяли по мнѣ, находя себѣ соотвѣтствующую колею. Я слушала, почти въ каждой фразѣ узнавая себя, свои думы, свои лишенія.

Затѣмъ проповѣдникъ попросилъ всѣхъ ищущихъ духовнаго міра, добра и Бога, пасть на колѣни и просить Его открыться намъ. И Господь по неизреченной любви своей не откажетъ ищущему, — сойдетъ въ духѣ и свершится чудесная вечеря блуднаго сына съ Отцомъ.

Нѣкоторые опустились на колѣна. Спереди молодая женщина въ немодной шляпѣ, громко, — то медлительно, то напряженно спѣша, — зашептала молитву импровизацію, свидѣтельствовавшую о такой истерзанной, израненной, падшей, чающей воскресенія душѣ, что рядомъ съ нею мой жребій казался счастливымъ.

Но собраніе скоро кончилось, и то тепло, которое встало, разлилось было по мнѣ, заглохло, потухло, — какъ коченѣетъ моторъ, когда не хватаетъ горючаго. Я снова осталась во власти старыхъ обидъ, униженіи, мытарствъ и недомоганій. Кругомъ люди съ радостно-смѣшными лицами, подходили, здоровались, заговаривали. Слышались слова: «братъ», «сестра»... Ко мнѣ тоже обращались, но я чувствовала себя отщепенцемъ, чужой, одинокой, уязвленной и снисходительной.

Сто франковъ подходили къ концу: со сложнымъ чувствомъ мѣняла послѣдній «билетъ». Тотъ день, я весь провела вблизи Сены. Разсѣянно слонялась. Ѣла круассаны и уродливо-безплодно размышляла. Не помню всего, что перебрала. И развѣ можно такое повторить. Окружающее меня слилось, потеряло очертанія, выпуклость. Я едва помнила, мелькомъ, какъ о давно, давно минувшемъ, свою недавнюю жизнь: послѣднія недѣли, вчера, сегодня. Внутренній взоръ безучастно скользилъ по этому забытому уже ландшафту, не задерживаясь ни на чемъ, не придавая ему значенія, какъ по лишенной интереса, расплывчатой картинкѣ съ выцвѣтшими красками. Зато впечатлѣнія прошлаго, въ особенности ранняго дѣтства, чѣмъ дальше они уводили назадъ, тѣмъ большую пріобрѣтали реальность, полноту, неоспоримость. Какъ будто, — смыкался нѣкій кругъ и я подходила близко къ исходнымъ точкамъ.

Съ моего лица не стиралась блѣдная, отраженная улыбка; я вспоминала разные эпизоды изъ своего дѣтства; проказы, игры, слезы; видѣла родныхъ, далекихъ, себя въ розовомъ платьицѣ, подругъ; все это воскресло, оно не умирало, оно пріобрѣтало вдругъ какой-то второй смыслъ, сокровенный и отпускающій.

Однажды, всѣ разошлись изъ дому. Въ большой

квартирѣ остались только я да горничная. Были сумерки, горничная убирала въ дѣтской и усадила меня тамъ же, на столѣ. Ступая босыми ногами, она мыла полъ и пѣла. И вдругъ я зарыдала. Плакала громко, безудержно. Пришла изъ города мать. Она стояла возлѣ меня, (я ее обнимала ножками), строгая, рослая, въ черномъ, недоумѣвающе озиралась, безпомощно утѣшала, стыдила, предлагала сласти, игрушки. Я же, того еще пуще рыдала, — такъ и заснула въ слезахъ. И никто, никто не догадался, — съ чего вдругъ?

Теперь на набережной Парижа я знала, поняла отчего стенала тогда въ сумерки, подъ негромкую пѣсню русской дѣвушки: то было предчувствіе грядущаго, прозрѣніе, проникновеніе въ жизнь. Я узрѣла, что эту суровую женщину, — мать, — разлучатъ со мною; скробь жизни, тяжесть разставанія услышало мое сердце. О потерѣ, о гибели, о неминуемыхъ утратахъ вѣщала мнѣ заунывная пѣсня въ сумерки. И напрасно взрослые, со всѣмъ высокомѣріемъ старшинства, утѣшали меня.

Время отъ времени въ ушахъ звенѣлъ знакомый, пустой голосъ: — «Дѣточка, дѣточка»... Я подскакивала, ежилась, оскаливалась, изгибалась, по спинѣ точно просачивалась газированная вода. Я не помню всего. что со мною творилъ «морякъ». Но предѣльно кощунственнымъ, усвоеннымъ, что навязчиво врѣзалось въ память, изводя и мучая, подхлестывая, было это слово, сказанное на прощаніе, когда, едва завернутая въ пальто, растерзанная, я стояла на тротуарѣ передъ еще не захлопнувшейся дверцей такси: — Дѣточка! — и не самое слово, а выраженіе: разсѣянности, благодарности и разочарованія. Благодарности.

Я съ малыхъ лѣтъ не выношу шуршанія войлочной подошвы объ полъ, скрипа закрываемой коробки съ пудрой (если косо насадить крышку), скребка старой колоды картъ, когда ее тасуя «рѣжутъ», или треска отгрызаемыхъ ногтей: кривлюсь, дергаюсь, оскаливаюсь, мотаю головой. И такъ же точно я извивалась теперь, когда воспаленная память услужливо преподносила, изъ какой-то своей музыкальной камеры, мучительное: «Дѣточка. Дѣточка». Головой, — въ воду. Что-бы пресѣчь тупое ощущеніе внутренняго грызка, гнойной раны, заставляла себя развлекаться, — останавливаться, угрюмо наблюдать за катящейся тутъ же у носа, примитивной, столичной жизнью. Люди въ толпѣ похожи, — всѣ на одно. Но если избрать какого-нибудь и долго слѣдить, то это почти всегда занимательно.

Помню одного. Онъ пересѣкалъ улицу по «пассажъ клутэ», шагнулъ на тротуаръ и, на самомъ краю, рѣзко остановился. Его ладони, судорожно вращаясь вокругъ осей, начали смыкаться, приближаясь къ лицу. Именно эта необъяснимая жестикуляція, — какъ бы отталкиваніе чего-то, — и привлекли вниманіе, были первымъ, что я замѣтила, потомъ уже разглядѣвъ всего человѣка. Онъ стоялъ у края, въ этомъ мѣстѣ, довольно высокаго тротуара, въ стекляной неподвижности. Сзади съ грохотомъ нагнетая воздухъ, неслись автокары, плыли лимузины, «взрывались» мотоциклеты. Человѣкъ застылъ, чудеснымъ образомъ удерживая равновѣсіе; и только руки его смыкались, медленно, скачками, и ладони плясали, дрожали, какъ треплемые осеннимъ вѣтромъ листья. Наконецъ, руки поднялись вверхъ, ладони повисли противъ лица, — онъ защищался отъ какого-то лютаго образа? На перекресткахъ

звонили ажаны, автобусы мчались съ опущенными забралами: «complet»... полнозвучно и зря тратила себя будничная жизнь; а онъ въ каталептическомъ величіи, вытянувшись чужимъ себѣ тѣломъ, недвижно спалъ, унесенный въ другой міръ. Ближайшіе прохожіе уже останавливали свой бѣгъ. Это длилось всего нѣсколько мгновеній: онъ рѣзко разорвалъ, сведенныя у лица запястья, отряхнулся, словно отгоняя томительное, — охъ, какое тяжелое, — навожденіе, и открылъ глаза. Только тогда я замѣтила, что глаза смежены, — когда онъ ихъ уже открывалъ. Сколько усталости было въ этомъ голубовато-мутномъ взорѣ. Руки падали, зигзагообразно и сокращенно повторяя всѣ движенія своего восхожденія. Онъ покачнулся, тряхнулъ головой и шагнулъ, будто откуда-то изъ пропасти, — въ жизнь. Нѣсколько человѣкъ, мы смотрѣли ему вслѣдъ. Съ виду онъ ничѣмъ не отличался отъ насъ. Смѣшался съ толпой, — растаялъ, испарился.

«Какъ можно? Какъ можно?» — повторяла я, не понимая всего. Ошеломилъ не столько припадокъ (нѣчто подобное пляскѣ св. Витта?), а вся постановка; внезапность, не поддающаяся учету, — (налетѣлъ среди шумной улицы, и вырвалъ изъ рядовъ себѣ подобныхъ; унесъ далеко, далеко, — тѣло ждало, вытянулось недвижно, а душа отсутствовала, странствовала; гдѣ?).

Вѣдь невмѣняемъ, безотвѣтственъ, а ушелъ въ даль, затерялся въ муравейникѣ, — и никто, ничего. Есть еще такіе? Вотъ шофферъ или газетчица? Разумѣется. «Морякъ!» Не такъ, значитъ по другому. А я то сама, что замыслила. Сегодня, сейчасъ, либо завтра, перешагну, упаду въ Сену; на дно; и никто, ничего.

У входа въ Notre Dame de Paris разносчики продавали открытки, планы, сувениры. Я еще не была въ самомъ храмѣ; все не удавалось: на минутку, мимоходомъ, не хотѣлось забѣгать, — съ дѣтства слышала о немъ, полюбила и всегда волновалась при мысли о встрѣчѣ. Какъ-то разъ нарочно пріѣхала, но въ тотъ день не пускали. И сейчасъ, увидѣвъ передъ собой открытую, рѣзную или лѣпную, темную дверь, и группу задирающихъ головы туристовъ, я направилась туда, — не размышляя, по инерціи давняго желанія. Уже на порогѣ, подумала: «Куда я? Развѣ время?» и хотѣла было вернуться, но тутъ-же рѣшила: «отчего не осуществить давнишней мечты? Даже кстати. Одно другому не по-мѣ-шаааетъ».

Въ церкви плыли сумерки. У входа монахиня съ фальшивой медлительностью потряхивала кружкой, въ которой тускло звенѣли монеты. Въ придѣлѣ, тутъ-же, слѣва, въ лѣсу желтоватыхъ свѣчъ, стояла на возвышеніи женщина, держа на рукахъ младенца, — и не вѣрилось, что это Богородица.

Пошла направо. Мимо распятаго Христа, знаменъ и многочисленныхъ кружекъ для пожертвованій. Дальше, въ центрѣ, одѣтая въ пышную мантію, нѣжно-величественная, въ коронѣ, болѣе похожая на владѣтельную, средневѣковую королеву, легкая, какъ кружево, парила, должно быть парижская, Богоматерь. Въ сторонѣ скромно пріютилась Св. Тереза съ лицомъ тихимъ скрытнымъ, знающимъ.

Высоко въ сводахъ синѣли, голубѣли, розовѣли окна, — круглыя, со спицами рамъ и оттого похожія на колеса; и казалось, что все кругомъ, — огромный, пу-

стынный, таинственный крейсеръ, плывущій по цвѣтнымъ небесамъ.

Я сѣла, наткнувшись на группу низенькихъ стульевъ. Въ полутьмѣ изваянія походили на памятники; казалось, что я на кладбищѣ. На пестрыхъ витражахъ, — цвѣта крыльевъ тропическихъ насѣкомыхъ, — апостолы, повисшіе въ воздухѣ, разыгрывали трогательныя, сурово-наивныя сцены изъ Священнаго Писанія; имъ помогали ослики, львы, барашки и другія библейскія животныя. Мимо ходили, глазѣли, шептались какіе-то; ихъ голоса гасли, зарываясь въ камень, шаги доносились глухо, какъ удары лопатой. И хотѣлось лечь въ тиши на этотъ полъ и умереть. Чтобы положили въ дубовый гробъ, похоронили тутъ-же подъ одной изъ плитъ. И только изрѣдка что-бъ доносились торжествующе-скорбные звуки органа, или еще лучше, одинокаго хора поющихъ монахинь. Какое это счастье.

Пошла дальше по кругу. Въ центрѣ человѣкъ двадцать аббатовъ въ пестрыхъ одеждахъ, раздѣлившись на два, стоящихъ за столами, другъ противъ друга, ряда, громко читали, должно быть, псалмы. Рядъ начиналъ, другой откликался. И отдѣльныя, латинскія слова, произнесенныя почему-либо громче, путались, напоминая непривычному уху гоготаніе стада взволнованныхъ гусей.

Обогнула молящихся священниковъ, прошла рѣшетчатой калиткой, гдѣ мнѣ открылось прекрасное видѣніе, потрясшее меня и обнадежившее. Я была въ готической галлереѣ, прямыми, мрачными линіями уходившей далеко вверхъ и впередъ: на самомъ концѣ этого темнаго, сводчатаго коридора сіяли огни восковыхъ свѣчъ и стройная монахиня въ снѣжной наколкѣ не-

торопливо творила обрядъ. Я подумала, что вышла за предѣлы доступнаго всѣмъ храма, что къ храму примыкаетъ монастырь, гдѣ вдалекѣ, въ предѣльномъ уединеніи, Христовы невѣсты несутъ высокій послугъ. О какъ душа моя, ущемленная, потянулась туда. Нерѣшительно оглядываясь, я сдѣлала нѣсколько шаговъ, ища надпись: «постороннимъ входъ запрещенъ». Мгновеніе спустя уже догадалась, но не хотѣлось сдаваться: я описала кругъ, — и пылающія свѣчи и монахиня были тѣ самыя, что стояли у входа; это онѣ открылись взору, съ другого конца, и въ перспективѣ дремлющихъ колоннъ, такъ сладостно, такъ мучительно, изъ глуби, меня прельстили.

А тамъ выходныя двери. И оттого ли что смерть меня сторожила за ними, или желаніе какъ можно больше заполнить этотъ послѣдній мой день, а можетъ сказалось и другое чувство, только я, прочитавъ надпись: «входъ наверхъ черезъ тѣ двери. Цѣна два франка»... вспомнила, что наверху находятся знаменитыя химеры, на вышкахъ, откуда виденъ Парижъ — и рѣшила подняться.

Держась за сердце, шла вверхъ по каменной, винтовой лѣстницѣ, похожей на туннель или на трубу со ступеньчатымъ поломъ; громоздко, черно и непроницаемо. Время отъ времени, въ боковой стѣнѣ обрисовывалась длинная, узкая щель, похожая на бойницу, — при видѣ толщины камня, въ которомъ прорублено древними масонами отверстіе, плечи сгибались, осознавая всю тяжесть нависшей кругомъ массы. И снова дуга грузно уводящихъ въ гору ступенекъ-плитъ, одна подобная другой, — все одна и та же, безконечный подъемъ. Иногда коридоръ съужался, — встрѣчалась рѣшетча-

тая, проржавленная калитка съ пыльными болтами и цѣпями, за которой сѣрѣли сумрачныя галлереи; и почему-то хотѣлось свернуть именно туда: такъ манитъ, влечетъ запертая дверь. Въ оконныя амбразуры видны были: сперва парадные фасады сосѣднихъ домовъ; потомъ открылись заднія, глухія стѣны, дымныя, словно рваныя, — отъ разной кладки дымоходовъ; дворыбочки съ тинистыми, сырыми днами. Затѣмъ обнажились крыши, незатѣйливыя, убогія, съ роемъ глиняныхъ трубъ, похожихъ на горшки вазоновъ. А тамъ замаячило небо. Припавъ къ отверстію, — долго глотала, всасывала образъ молочной бездны, рѣющей надъ отступившимъ городомъ. Это небо я видѣла давно, много лѣтъ; вдругъ съежившійся городъ, потерявшій шумъ и текучесть, тоже знала. Отчего же въ хмуромъ, древнемъ, каменномъ мѣшкѣ я съ такой жадностью глядѣла наружу, хмелѣя? Какъ прекрасенъ міръ черезъ щелку!

И снова лѣстницы ровный нарѣзъ — словно дуло винтовки отлитой для большой пули. Снизу доносился топотъ крѣпкихъ ногъ, крики, молодой смѣхъ. Однако, сколь бойко тамъ ни бѣжали и какъ я ни старалась пропустить ихъ впередъ, намъ долго, очень долго, не удавалось разминуться. «Какъ это высоко» — представилось мнѣ. Онѣ прошли шумной оравой, — дѣвушки туристки, — разглядывая и меня, какъ достопримѣчательность; было въ этомъ мѣстѣ такъ тѣсно, что гуськомъ онѣ все же меня задѣвали. «Пошлыя лавочницы!» — выругалась, раздраженная грубымъ говоромъ, непонятной рѣчью, порывистымъ дыханіемъ и всѣмъ ореоломъ беззаботной юности, окружавшимъ ихъ. Онѣ прошли, — я вспомнила потомъ эту встрѣчу! — и

шумъ поднятый ими очень скоро и совершенно внезапно оборвался. «Скоро: площадка», — догадалась; и эта сообразительность мнѣ доставила одинаковую боль и радость. Я зло улыбнулась. «Этотъ умъ, смѣлый, точный, столь любимый мною умъ, долженъ погибнуть, — вскрикнула душою. — Вѣдь сейчасъ конецъ!» И безпомощное недоумѣніе подступило, залило, — какъ-бы накачиваясь въ меня, — поднимая чуть ввысь, лишая вѣса и желанной опоры. Тѣло обрекаютъ на гибель, — это почти уже понятно; но что будетъ съ моими способностями къ языкамъ, со знаніемъ таблицы умноженія? Куда дѣнется искусство изъ нѣсколькихъ второстепенныхъ данныхъ сдѣлать отважный, общій выводъ? У газетнаго кіоска, гдѣ висятъ журналы съ восточными заголовками, я всегда вспоминаю кошачьи зрачки, перпендекулярно надрѣзанные, похожіе на азіатскіе рисунки буквъ; достаточно только вспомнить «Голодъ» Гамсуна, что-бы у меня разболѣлись зубы: я читала эту книгу ночью, во время первой зубной боли. Что станется со всѣми этими особенностями, знаніями, оттѣнками, качествами: Сгніютъ? Но это не мясо. Отвѣтъ все ускользаетъ; какъ близко однако, — прыгнуть-бы, — догнать, додумать. Безъ хлѣба, безъ крова, безъ друзей, видитъ Богъ не поэтому, я должна умереть. О, какъ легко я могла бы пройти мимо этихъ невзгодъ. Оглянулась по сторонамъ: стало вдругъ страшно. Держась за грудь, бросилась впередъ, прыгая черезъ ступеньки. Мелькнулъ молочно-свѣтлый прямоугольникъ, — выходъ на первую площадку. Вынырнула наружу. Дѣвушки-туристки, опередившія меня, съ серьезнымъ вниманіемъ изучали доступное глазу, видимо смущенныя и боясь показать,

что разглядываемое не поражаетъ ихъ и не занимаетъ.

На каменныхъ перилахъ бѣгущихъ вдоль узкой, открытой галлереи, стояло крылатое, рогатое существо съ горбатымъ носомъ, опирая характерный подбородокъ о ладони рукъ и внимательно глядя внизъ, оно словно старалось осмыслить, провѣрить, понять открывающееся ему; казалось, оно уже разъ видѣло, но честно, желая убѣдиться всѣми доступными средствами, снова припало, напряженно, добросовѣстно и спокойно всматриваясь въ даль, — и лицо его вотъ, вотъ содрогнется предъ ужасомъ представшей ему правды.

Немного поотдаль застыла большая птица; съ головы ея ниспадала, — скрывая контуры тѣла, — какъбы шаль, что, — съ горбатымъ клювомъ, — придаетъ ей сходство со старой, злой ворожеей. Ея клювъ широко раскрытъ. Захлебываясь отъ горя, радости и страха, она упоенно каркала. Она вѣщала, — про смерть, голодъ, войну; разливы рѣкъ, повѣтрія, землетрясенія; убійства, кровосмѣшенія и пожары. Ее надо было убрать, каинову птицу, дубинкой размозжить черепъ, но ее почтительно обходятъ и столѣтія она продолжаетъ изрыгать проклятія на беззащитныя головы обывателей.

Взмывали тучные голуби; бородатые апостолы, голубовато-зеленаго свѣта, похожіе на каменьщиковъ лѣстницей всходили и нисходили. На крестѣ игрушечный пѣтухъ мечталъ о лѣтнемъ вѣтрѣ. Колокольни казались картонными. Съ кружевной, громоздкой легкостью взбѣгалъ гранитъ.

Побрякивая ключами, подошла рыхлая щенщина, привратница. Она торговала открытками, брелоками, планами и пр. Туристки пріобрѣли нѣсколько сним-

ковъ собора и тутъ-же, на каменныхъ перилахъ, надписали ихъ, подѣлившись на нѣсколько паръ или троекъ, ставъ другъ къ другу спиной; и сразу стало очевиднымъ, что тамъ, на своей родинѣ, — Голландія, Скандинавія? — онѣ не всѣ между собою равны и близки.

Внизу, — перешагнуть! — стелился пористый коверъ, и сверлила дума, — голова кружилась, — что такъ, и невозможно и легко: прыгнуть.

Привратница сообщила, — кто не пойдетъ съ нею, не увидитъ колокола. Всѣ повалили за нею и по странной природѣ человѣка, — я тоже. Насъ провели черезъ низкую, тесовую, некрашенную дверь. Ступеньки, — неровныя, деревянныя; полъ, — настилъ изъ досокъ; все напоминало маленькую сельскую мельницу. Рыхлая привратница, какъ всѣ гиды, почти не скрывала презрѣнія къ намъ, — оттого что она въ роли проводника, а мы послушное стадо, что мы — глупые, осматриваемъ ненужныя и неинтересныя вещи?

Колоколъ, огромная туша сѣро-зеленаго цвѣта, сосредоточенно покоился межъ сваями. Не было впечатлѣнія, что онъ виситъ. Привратница заставила всѣхъ, и меня въ томъ числѣ, взойти подъ колоколъ. Мы поражались не ширинѣ его, не толщинѣ стѣнъ, а высотѣ, — глубокій, убѣгающій въ сѣдые потемки, куполъ. Потомъ привратница возвѣстила сколько тоннъ онъ вѣситъ, ударила по немъ въ различныхъ направленіяхъ, желѣзнымъ скобелемъ, показавъ многообразіе, чистоту и величественость издаваемыхъ звуковъ; и предложила всѣмъ выйти. Она стала у дверецъ, — рука копилкой, — сперва глядѣла, бѣгло, что въ нее попало, затѣмъ въ лицо дающаго; и благодарила.

Туристки повалили на верхнюю площадку. Я замѣшкалась немного — что-бъ подняться одной. Привратница у своего ларька домовито вязала. Внизу шныряли рои машинъ, точекъ, гусеницъ. Въ госпиталѣ Hotel Dieu распахнулись ворота и выѣхалъ закрытый автомобиль, — должно быть скорой помощи. Не торопясь пробили часы.

На верхнюю площадку долго поднималась, по такой-же крутой, — только еще у́же, — лѣстницѣ; и опять чрезъ узкія скважины глядѣли на меня лучистые образчики небесъ. Кое-гдѣ, на сумрачномъ камнѣ, какъ на могильныхъ плитахъ, были жадно выцарапаны иниціалы и даты.

Наверху, — просторный міръ. При закатномъ небѣ Парижъ влажными складками уплывалъ за черту. Я долго ходила кругомъ по вышкѣ, впитывая, запечатлѣвая волнующій видъ, отступившаго, заглохшаго города, какъ бы давно оставленнаго смертными, — побѣлѣвшій, потерявшій опредѣленность линій, просвѣтленный.

Глубоко, далеко стелились кладбищенскими склепами игрушечныя строенія, разобщенныя узкими рвами; и среди нихъ, траурными кораблями, дымно носились главы церквей. Сахарно-бѣлый, на холмѣ, Sacré Coeur, налѣво, должно быть St. Germain des Prés; еще и еще и еще, купола, пагоды, кресты и колокольни. Что-то плоское, — тріумфальная арка, Пантеонъ? Ликерная бутылка, — Эйфелева башня. Подъ канатами мостовъ, въ плѣну, спитъ Сена. Не видно, что-бъ она текла, волновалась — раба, проститутка, покорно опочившая въ гранитной, засаленной парчѣ. Она такъ ма-

ла, ничтожна, что просто обидно: въ ней мое спасеніе? На этомъ жалкомъ днѣ? Ничтожная лужа. А вѣдь я должна умереть. Должна, а не хочу. То то оно и есть. Не хочу. Не могу (участвовать). Господи, какъ прекрасна жизнь, только какая-то мелочь недостаетъ, — необходимая, — а что не поймешь, — распахни мои глаза, Господи, меня тащатъ, тащатъ, — озиралась я, что-бы лучше разглядѣть, кто тащитъ. Кругомъ-никого, и все-же я чувствовала, какъ въ колодкахъ, на арканѣ меня волочатъ къ проруби; я вырываюсь, пячусь, не хочу, — точно во снѣ, когда даже «спасите» внятно крикнуть не въ мочь, — но все ближе и ближе топь. Небо, необычайное небо парижскаго заката, рѣяло вверху. Спокойное, совершенное, уводящее. На западѣ собрались бруски облаковъ и какъ это часто бываетъ, солнце, прорвавшись межъ ними косыми лучами, внезапно разлилось розовымъ, нѣжнымъ багрянцемъ. На горизонтѣ городъ таялъ въ молочномъ туманѣ, казалось, что онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ; а тамъ въ рдяной росписи, мѣняя ежеминутно оттѣнки, вспыхивали, потухали, разгорались ржавыя поля заката, убѣгая межъ растопыренными пальцами облаковъ: тамъ — тихая, райская обитель, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханій. Такъ прекрасенъ былъ этотъ пріюткрывающійся міръ, такъ безчеловѣчно жестко давило близкое, окружающее, что совершенно серьезно, мнѣ захотѣлось перепрыгнуть черезъ перила и, шагая надъ городами и селами, пройти въ эту зовущую страну такихъ совершенныхъ красокъ. «Господи! что-же мнѣ дѣлать?» — неистово взмолилась. «Полонъ, насыщенъ окружающій меня свѣтъ, но туго, веревками, перехватили все существованіе, —

пошлости, тупости, незначительности: крѣпко впившимися пьявками-цѣпями».

На площадку взошла пара: накрашенная, и парень въ беретѣ. Полуобнявшись, они остановились, измѣряя взглядомъ — Эйфелеву.

Я безцѣльно кружила по четырехугольнику вышки. Внизу каменныя стѣны насупились, потемнѣли, можетъ благодаря перемѣнѣ освѣщенія; но мнѣ мерещилось, что онѣ хмурятся за неопознанную красоту міра.

Парень закурилъ папиросу, потухшую спичку бросилъ за перила, барышня засмѣялась; выпуская облака дыма, — какія бываютъ вначалѣ, пока раскуриваешь папиросу, — онъ полуобнялъ свою спутницу и нагнувъ голову на бокъ, — щека къ щекѣ, — повелъ къ каменной вышкѣ; не взглянувъ въ мою сторону, они скрылись.

Я пробовала продолжать свое ни къ чему не обязывающее круженіе, но въ головѣ застучала мысль, мутя и подхлестывая: приближается вечеръ, черезъ полчаса меня отсюда погонятъ, итти некуда, — смерть. Слово смерть ничего не означаетъ: я внутренно оглянула, ощупала всю себя, — отъ первой до послѣдней возможности, и увидѣла: лёдъ! Показалось счастьемъ: если-бъ все по старому! Усмѣхнулась.

«Надо молиться. Надо молиться-» — гдѣ-то зашевелилось чувство раздраженія, безсилія: я старалась его отогнать, стряхнуть. Эту трусливую ярость мнѣ случалось испытывать во снѣ, — когда тщетно отбиваешься отъ неуязвимаго преслѣдователя.

Я царапала перила, металась по каменной вышкѣ, пробуя физическимъ усиліемъ освободиться изъ плѣна, что-то прорвать, вылупиться изъ какой-то скорлупы. Потомъ застыла недвижно, вся напрягаясь чѣмъ-то внутри, чему названіе только, — душа; я чувствовала, что могу сейчасъ упасть замертво, но въ то же время знала; меня окружаетъ завѣса, все путающая, скрывающая правду, однако если хорошо теперь напрячься, то она можетъ рухнуть, взвиться, и я увижу то, безъ чего нѣтъ жизни.

«Господи! освободи меня. Освободи!» — шептала безконечнымъ шопотомъ. — «Сейчасъ. Господи, освободи!» — чувствуя такое смѣшеніе желаній, инстинктовъ, посуловъ, отчаянія и надеждъ, въ коемъ разобраться мнѣ не дано.

Прошло мгновеніе необычайнаго напора всѣхъ силъ. Я боялась перевести дыханіе, полагая, что отъ любого движенія, колебанія все можетъ кончиться, распасться, съежиться: вмѣсто радужнаго столба неземного, но человѣческаго, счастья, который подобно смерчу начиналъ приближаться, я увижу опять постылое что окружаетъ человѣка, — небо, крыши, лица и пр. безъ ихъ внутренней связи, вѣса и мѣры; не какъ цѣлое, сплавленное, слитое, озаряемое однимъ сіяніемъ со мною, а собраніе разнородныхъ предметовъ, повернувшихся

другъ къ другу спиной; я снова найду себя, — ублюдкомъ, отрѣзаннымъ ломтемъ, безъ мѣста, самому себѣ осточертѣвшимъ, травимымъ всѣми зайцемъ.

«Господи, Господи! — Что это?» — онѣмѣло повторяла уже труся: сейчасъ, вѣдь въ невмѣняемомъ состояніи, я могу упасть, заголосить, испариться!? «Что это?» Кто-то во мнѣ дѣлалъ судорожныя усилія, стараясь, — какъ будто это очень важно, — удержать контроль: ложный ли это стыдъ, или боязнь — давно жданнаго, всеразрѣшающаго и непоправимаго? Близость несущейся, побѣдоносной силы, и вложенный въ человѣка, роковой инстинктъ отпора? И въ этой борьбѣ неистовой, отъ физическаго противленія, нематеріальной стихіи, высѣкся, вспыхнулъ огонь.

Я свидѣтельствую тутъ о чудесномъ и въ то-же время о самомъ реальномъ, что когда-либо случалось со мною.

На меня хлынулъ потокъ, ударившій меня въ грудь. Скрючившись, цѣпляясь ладонями, — все еще какъ-бы упорствуя, — я упала на полъ, укрываясь отъ трепавшаго меня вѣтра. Я слышала шумъ бури надъ головой, широковѣщавшей и ломающей многое. По всему тѣлу рокотало пламя. Свистящій ураганъ пронизывалъ меня. Духъ, страшный своею неисчерпаемостью, дулъ, слегка только, краемъ, задѣвая меня; я чувствовала: если напоръ чуть увеличится или продолжится еще немного, — отъ меня мокраго мѣста не останется. Лежала, отдавшись, съ закрытыми глазами, пригнувъ голову, какъ во время сильнаго шторма: задѣнетъ, — снесетъ, раздавитъ. Сердце вздувалось, разливалось, заняло все тѣло: оно билось всюду со все ускоряющейся быстротой, вѣны и артеріи горячими трубами опо-

ясывали тѣло; я слышала свистъ, необычайный, острый. Мощный Духъ вливался въ меня. Я задыхалась отъ страха и тяжести. Онъ раздиралъ на части, проходя насквозь, расщепляя на атомы всѣ молекулы и клѣтки, и благость его была въ томъ, — что только часть волны шла на меня.

— Спаси. Не убiй. Пройди скорѣе! — почти кощунственно молила. — Я не могу. Прости. Я сейчасъ умру.

Сколько это продолжалось?

Не вѣдаю, что творилось кругомъ, хотя я все же сохранила одно впечатлѣнiе внѣшняго мiра, — впечатлѣнiе его неподвижности. Медленно приходила въ состоянiе покоя, — не въ себя: со мною явно что-то произошло, и та, къ которой я вернулась, существенно отличалась отъ прежней. Вся въ облегчающихъ, безотчетныхъ слезахъ, — съ шумомъ въ ушахъ, — смятая, разслабленная, какъ роженица, я улыбалась растерянной, изнеможенной, блаженной, — птичьей, — улыбкой. Едва сознавая, что, наконецъ, произошло долгожданное, что только снилось и предчувствовалось: таинственное, благостное, непоправимое, главное... и хмелѣя, захлебываясь отъ этой побѣды, я поднялась на слабыя, гнущiяся, какъ послѣ кризиса, ноги. И вдругъ почудилось опять приближенiе знакомаго уже — рокота. Заслонивъ голову, собравшись, я прождала и этотъ порывъ. Онъ прошелъ стороной со все ослабѣвающей силой: послѣднiй вихрь ушедшей бури. И снова дикая, растерянная, младенческая усмѣшка — незаслуженнаго, непонятнаго, но прочно обрѣтеннаго вдругъ счастья.

Я заговорила вслухъ, безсвязно, — не только потому, что было трудно подбирать нужныя слова, но это

казалось ненужнымъ, неважнымъ, противно-мѣшающимъ.

Пришла сторожиха, объявила, что закрываютъ; я отвернулась, боясь ее обидѣть безпричиннымъ смѣхомъ. Ей бы надо было «все» разсказать, но я не сумѣла; въ глазахъ свѣтились слезы. Не замѣтила — дорогу внизъ. По тротуарамъ ходили еще не знавшіе всего и потому озабоченные люди; хотѣлось ихъ порадовать, повѣдать о случившемся. Какой-то инстинктъ меня удерживалъ. Я экономила въ каждомъ движеніи, походка измѣнилась: шла, какъ ходятъ съ доверху наполненнымъ сосудомъ, — стараясь ничего не пролить Въ груди чувствовала одну точку, — часть сердца, — оно отчетливо, казалось замедленно, покойно, равномѣрно сокращалось, — я ощущала его біеніе, не прикладывая руки, въ любомъ положеніи; оно чуть болѣло, и было что-то невыразимо прекрасное, укрѣпляющее и нормальное въ этой боли. Тамъ, въ груди, зажглась, словно горѣла свѣча, и это отъ нея исходило тепло и свѣтъ и счастье; надо было только сообразовать каждое свое движеніе, желаніе и мысль, чтобы не притушить, не уменьшить, а наоборотъ, — раздуть и укрѣпить отзывающееся на все пламя. И то, что увеличивало этотъ свѣтъ, было — добро; а то, что могло погасить его, было — зло. Больше не надо колебаться, страдать отъ сомнѣнія; я знала «все», такъ какъ непосредственно ощущала живое тепло въ груди, — подобное градуснику, — обрѣла мѣру всему, и это одно уже могло насытить счастьемъ, но еще неожиданнѣе было, — полное согласіе, симметрія, равновѣсіе.

Мнѣ говорили, что Богъ всюду, во всемъ; разумѣется я это слышала, но когда собиралась молиться,

шла въ церковь или у себя, становилась на колѣни, по дѣтской привычкѣ, у кровати, захватывая взглядомъ часть неба и образокъ, шептала, что Богъ на душу положитъ. Теперь, я и не думала молиться, но весь мой путь домой (и дальше, потомъ) былъ сплошнымъ общеніемъ, молчаливой бесѣдой съ Богомъ, тѣмъ горячѣе, тѣмъ интимнѣе, что не надо было глядѣть куда-то вверхъ, — а наоборотъ, углубиться въ себя, окунуться, внѣдриться, такъ какъ Богъ былъ, свѣтилъ во мнѣ; и единственно достойная часть меня, оказалась слитой, связанной съ Нимъ, — словно возстановилась забытая циркуляція, — и бесѣдовать съ Нимъ было такъ-же просто и необходимо и легко, какъ мыслить и дышать.

Все, что терзало, мучило прежде, раскрошилось, осыпалось шелухой; все, что мнилось неотвратимо-важнымъ, оказалось только чудовищнымъ нагроможденіемъ тѣней: я удивлялась, — какъ можно было придавать значеніе. Не то что-бъ я увидѣла какъ все обойти, — совсѣмъ объ этомъ и не думала: — оно уже не существовало. Ну что такое Павелъ Кондратьевичъ, «дѣточка», служба, Ленька. Они выцвѣли, отстали, ихъ отнесло въ сторону: настойчивой и мудрой рукой, меня вели къ цѣли. Но это уже разсужденія, а тогда я не мудрствовала, потому что не къ чему было; мнѣ открылось все, что нужно для жизни, — безъ чего: стойло, — а остальное меня не занимало.

О, въ какой неизреченно-блаженной, сосредоточенной, просѣянной атмосферѣ, я двигалась.

Въ вагонѣ метро сѣла было, но тотчасъ-же уступила мѣсто ласково поблагодарившей старухѣ. (Какъ жаждала служить!) Пассажиры глядѣли на меня свѣтло,

съ уваженіемъ. Случайно ли, но среди нихъ встрѣчались пріятныя, человѣчныя лица: пусть крашенныя, порочныя, жирныя, угреватыя, но вовсе не злыя и главное не противныя, а знакомыя и родныя. Отношеніе ко мнѣ тоже измѣнилось, — не приставали, но въ то-же время не чуждались: замѣчали, оказывали знаки вниманія. Въ дверяхъ не толкались, не тѣснились, — кто спѣшилъ, прошелъ впередъ, — и въ какомъ-то сплошномъ, взаимномъ, возвышающемъ всѣхъ уваженіи, извиняясь и уступая дорогу, мы пересѣли на Nord Sud. Нѣсколько мелкихъ, такую радость мнѣ доставившихъ услугъ сосѣдямъ вызвали тотчасъ-же отвѣтный, радужный снопъ.

Домой шла прислушиваясь къ отчетливо, слышно мнѣ, бьющему сердцу. Оно выстукивало цѣлыя фразы; одну фразу; я нашла текстъ: Господи, вся Твоя... и опять: Господи, вся Твоя. Я чувствовала сердце, оно немного кололо, но боль эта была иная: переносимая, желанная, точно необходимая для сохраненія новаго состоянія (пустить корни). И я подумала со страхомъ: можетъ быть то, чего я удостоилась, приблизитъ мою смерть, можетъ оно дается только обреченнымъ? Вполнѣ допустимо: слишкомъ остро и, возможно, не по силамъ человѣческимъ такое общеніе съ Богомъ. Но тутъ же съ увѣренностью рѣшила, что Отецъ въ добротѣ своей неисчерпаемой, вѣроятно, меня исцѣлитъ. Однако и мысль о смерти не испугала. Какъ будто духовная гроза, испепеляющій огонь, лившійся въ мои поры, разъединилъ, разложилъ ткань на основныя части, и я возстала перерожденная, явственно и отчетливо раздѣленная на тѣлесную оболочку и нутряное «я». И что мнѣ до разлуки съ хилой, надоѣвшей

плотью, когда единственно близкое, существеное, оставалось на вѣки со мною. Такое разсужденіе книжно, мнѣ знакомо давно. Крайняя убѣдительность заключалась въ томъ, что теперь я такъ чувствовала, а не размышляла; и не такъ еще, а гораздо острѣе, ярче и глубже; только желая, готовясь, кому-нибудь растолковать мое вѣдѣніе, я подбирала эти не совсѣмъ исчерпывающія предметъ объясненія.

Обычно, возвращаясь поздно въ свой номеръ, я сочиняла горячій ужинъ, всѣмъ разумомъ заботясь о здоровьи, памятуя, что за весь день ничего почти не ѣла. Улыбнулась самой мысли: казался отталкивающимъ процессъ ѣды, — жеваніе, глотаніе, перевариваніе; отвращеніе увеличивалось догадкой, что этимъ я можетъ частично, — взбаломучу наступившее просвѣтленіе. Но тутъ-же осѣнило: «не объясняется ли все случившееся сегодня, именно голодомъ, истощеніемъ и прочей физіологіей?»

Рѣшила, подкрѣпиться: возстановить обычное равновѣсіе.

Вся тянулась къ Евангелію: хотѣлось уже открыть книгу, читать. Но я постановила провѣрить себя и въ этомъ, не усугублять возможнаго вліянія, лечь поспать, — убѣдиться, не случайно, не преходяще, не лживо ли то сознаніе законченности, счастья, истины, съ которымъ я двигалась словно съ драгоцѣннымъ кувшиномъ на головѣ: не поломать, не расплескать.

Мнѣ представлялось: если послѣ ночи отдыха, я проснусь безъ своего блаженнаго, молитвеннаго подъема, или хотя-бы съ нѣсколько ущербленнымъ, — значитъ, все это не «то». Воззвавъ: «Не оставь меня, не отбирай свѣта радости и любви, — единственно же-

ланнаго и сущаго, — Боже,»... я усиліемъ воли выключила, остановила этотъ ровный потокъ словъ, непрерывно расшифровывающій теплыя волны, лучи, испускаемые мною въ пространство, — выполняя принятое рѣшеніе: не воздѣйствовать.

Я была похожа на нищаго, которому возвѣстили, что онъ вѣроятно унаслѣдуетъ имущество креза; его ввели по просторной аллеѣ въ особнякъ, позволили расположиться какъ душѣ угодно, но намекнули: «можетъ близкій родственникъ еще найдется, тогда придется вамъ уходить. Это выяснится въ ближайшіе дни». Бѣдный человѣкъ долженъ былъ отвѣтить: «Я лучше поживу въ своей норѣ, пока вопросъ не разрѣшится окончательно».

Однако, все это, — въ мысляхъ. Чувствомъ же я ни въ чемъ уже не сомнѣвалась. Улыбаясь блаженно, сосредоточенно, сквозь пленку радостно-тихой грусти (за ушедшіе въ пустую годы, свои и чужіе?), предвидя всю необыденность наступающей жизни, отдаваясь ей, счастливо посмѣиваясь и благодаря, я легко, безъ усилія, по новому, незамѣтно, — перешла, — уснула.

Проснулась невзначай, (не какъ обычно), — съ ясной, свободной отъ тяжкой путаницы едва осознаваемыхъ кошмаровъ, головой. Солнечное утро; пѣгій снопъ золотистой пыли ложился косо въ окно. Я очнулась съ улыбкой, со счастливой нѣгой на губахъ, съ тѣмъ самымъ сознаніемъ умиленнаго пріобрѣтенія, съ какимъ легла, — сразу ощутила широкую плоскость сердца, а въ немъ таинственную жизнь. Легко одѣлась, двигаясь безшумно, сосредоточенно умылась, напилась чаю, не позволяя себѣ торопиться, — какъ передъ поѣздкою на вокзалъ, когда времени много, или передъ радостнымъ свиданіемъ. Наконецъ, прибравъ все, трепеща взялась за Евангеліе, — такъ волнуясь, приближаются къ двери покинутаго дома, гдѣ протекало дѣтство.

Читала не отрываясь. Съ ровной жадностью пила, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Это было чудесно: я поняла; все объяснилось. 16-ая глава отъ Іоанна вскрыла меня; растолковала вчерашнее. Вѣдь я случалось перелистывала эту книгу, но Боже великій, по какому таинству оставался до сихъ поръ не познаннымъ мною вѣсъ все тѣхъ же строкъ. Бывало не замѣчала того, что теперь содержало всю меня, — отъ кончика ногтей до внутренняго дыханія, безъ чего не было ничего. Не часть себя нашла я тамъ, а себя ча-

ѣстью того; и не такъ еще, а больше, лучше, — несокрушимое тождество.

«Надлежитъ вамъ родиться свыше»: мое рожденіе. Огонь обрушился, грозный, воинственный и священный; отъ божественной любви въ немъ было только то, что будь онъ на іоту сильнѣе или продолжительнѣе, — отъ меня бы ничего не осталось, таково впечатлѣніе. Я поднялась съ колѣнъ, преображенная. Я, перворродная, близкая Богу, огнеупорная, исшедшая изъ Него, родственная Ему, очистилась въ этомъ огнѣ отъ всяческихъ плевелъ, отсѣклась, отдѣлилась, — во всѣхъ проявленіяхъ, въ разумѣ и въ чувствѣ, — отъ формы, скорлупы, къ которой приросла; и я познала мѣру, вѣсъ своей души. «Пошлю вамъ Духа Истины, Утѣшителя, который наставитъ васъ какъ жить». Это Его, Его Духъ Истины, совершенный, родной, таинственный, обрѣла я въ себѣ съ того мгновенія. «Я уйду и пошлю Его вамъ». О, какъ реально, матерьяльно, онъ былъ тутъ и утѣшалъ, какъ благостно и одухотворенно. «Сія есть заповѣдь моя, да любите другъ друга».

Ибо нѣтъ большаго счастья, — вотъ что открылось. Не какъ возвышенное ученіе, не какъ идея, не какъ проповѣдь, не какъ путь праведный, а какъ насущная потребность, единственная возможность жизни, — какъ немедленное, конкретное удовлетвореніе и счастье. Я давно знала — должно любить, давно полагала — хорошо любить: нашъ Богъ, Христосъ это сказалъ. Но таинство свершившагося крылось въ томъ, что любить сдѣлалось «легко» и «можно», — это стало нормальнымъ состояніемъ души: какъ естественно для легкихъ дышать. Отдавать себя, пріобрѣтая Бога, — наяву, на ощупь, — и почти невозможное оказалось

доступнымъ. Подставить правую щеку ударившему въ лѣвую, — стало единственно понятнымъ и дѣйственнымъ и простымъ. Сколько, — свободы, увѣренности, воли; не знаю; не то; счастье.

«Не оставлю васъ сиротами». Я всегда была сиротой. И скорбь и радость. Вся книга оказалась знакомой: какъ бы съ дѣтства, а то и раньше, — часть меня, предтеча.

Нельзя было оторваться отъ жаркой струи. Такъ бы и пила: днемъ, ночью. Но принудила себя. Рѣшила погулять, обдумать. Передъ выходомъ, глянула въ зеркало, увидѣла лицо, которое окрестила—«молочнымъ». Пошла отъ Porte de Versailles куда-то дальше, за-городъ. Свѣтило солнце; и впервые за всю жизнь, я увидѣла міръ освобожденнымъ отъ зла, прекрасно завершеннымъ. Камень, сырой камень пригородныхъ строеній, покрытый мхомъ, — просвѣтлѣлъ, озарился изнутри: я узнала тотъ-же духъ, что во мнѣ, который и есть ядро всего, корень существующаго.

Я уразумѣла: всѣ терзанія, отъ расхожденія, — потери непосредственнаго общенія, — съ этимъ Живымъ Духомъ; и какъ тухнетъ лампа, когда выдернули штепсель, такъ коченѣла моя душа. Я христіанка, родилась въ православіи и, несмотря на все возмутительное, что дѣлали люди окружавшіе меня, всегда сохраняла вѣру въ какое-то безсмертіе души. Но мысль, что тѣло мое, — червямъ. . . добивала. И вдругъ я познала, доподлинно и осязательно ощутила себя оторванной отъ плоти. Вотъ рука, поднимаю ее, — синія жилки. Что мнѣ до нея? Это ли — я? То потная, то холодная, ровно срѣзанные ногти, — что въ ней отъ меня, ликующей, благодарящей, ратующей за вѣчное?

Я узрѣла: смерти «моей», нѣтъ. Мясо прахъ, но «я» не мясо. И такъ весь «міръ»: камень и дерево... все безсмертно въ духѣ своемъ, а смертное не «міръ».

Впереди, по немощенному тротуару ковылялъ старикъ нищій. Когда-то, встрѣчая такое, я вздыхала: «убогій, калѣка, — соціальныя, моральныя проблемы, — неуютная жизнь и скоро, охъ скоро, смерть». Теперь же, я глядѣла на него все улыбаясь сквозь торжественно-жалостливыя слезы: хотѣлось подойти, взять за руку и спросить, знаетъ ли онъ, что смерть и зло побѣждены, что спасеніе доступно, что все одухотворено, мудро и столь неизреченно добро? И если не знаетъ еще, то обливаясь жаркими слезами, разсказать ему все и поклясться, что это такъ.

Я шла вдоль желѣзнодоржнаго полотна; оно лежало въ узкомъ, глубокомъ оврагѣ, — стороны котораго покрытыя зимней растительностью, отлого и симметрично поднимались вверхъ. Неподалеку виднѣлся мостикъ, переброшенный надъ полотномъ. На противоположной сторонѣ, освѣщенной солнцемъ, было по весеннему ярко и звонко. Я ступила на мостикъ. Въ оврагѣ сновали пыхтящіе локомотивы, и оттого низъ моста былъ покрытъ смолистой сажей и копотью. Я подумала, что это можетъ быть образомъ сегодняшняго: перехожу съ тѣневой стороны въ свѣтлую, изъ смерти въ воскресеніе, изъ печали въ радость, а доски моста обкурены жирнымъ дымомъ существованія; такъ, чтобы перейти рубежъ, надо подняться немного надъ жизнью.

Снова и снова начинала допытываться, вспоминать, какъ же это произошло, вклиняясь памятью во всѣ подробности своего второго рожденія, ища ему сло-

веснаго отображенія, уразумѣнія. Вдругъ, замѣтила, что чувство мое меркнетъ отъ этихъ мозговыхъ усилій, и я поняла: нужно только дышать, лицезрѣть вселенную, отдаваться, — подставлять себя, — волѣ, разливающейся по мнѣ, творящей нужную работу, — больше ничего. Я шла оторванная отъ окружающаго, — въ себѣ, — не глядя на рѣдкихъ встрѣчныхъ, легко и свободно ступая, умиляясь мысли, что я видимо такъ же неутомимо двигаюсь по духовному пути. И вдругъ снова почувствовала: радость меркнетъ. Остановилась озираясь, ища возможной причины: протряссся грузовикъ съ росписью «Samaritaine», прошелъ жандармъ, за нимъ старуха въ бретонской наколкѣ? . . И мнѣ открылось: безуміе, слѣпота пропускать мимо себя людей, не оказавъ имъ предѣльнаго вниманія. Какъ лучше, — слушать Бога въ душѣ, внимать Его теплу и свѣту въ мірѣ, чѣмъ всячески пытаться уразумѣть Его, такъ всего важнѣе: не пропустить ничего живого, встрѣчнаго, — шофферъ такси, старушка въ кринолинѣ, — безъ улыбки; кланяться всѣмъ и благословлять. И еще я поняла, что важнѣе всего самаго главнаго и серьезнаго, — это любить. Всѣхъ и все, безъ сомнѣній о достоинствѣ, такъ какъ не для нихъ любишь, а для себя: какъ въ міру тѣло, чтобы жить, должно ѣсть, такъ душа, чтобы не замерзнуть, стремится любить, — до конца, непрестанно; а безъ этого: стойло.

Такъ шла я, какъ по саду, бережной походкой, — не расплескать бы, — безпрерывно прислушиваясь къ голосу, обрѣтающемуся во мнѣ. И не было мнѣ отказа. Когда сомнѣвалась: такъ правильнѣе, либо этакъ? . . сосредотачивала взглядъ во внутрь: «Такъ лучше? — въ отвѣтъ меркнетъ сіяніе. — Такъ?» — снова разго-

раетея. Да горитъ оно во вѣкъ. Въ сердцѣ ощущала постоянную, тупую, легкую и пріятную боль: словно какой-то физическій, трехмѣрный предметъ вклинился туда. Опять подумала: можетъ это превращеніе мнѣ не по силамъ, не опередило ли только собою приближающуюся смерть, это чудесное прозрѣніе? «Ну чего-жъ, — увѣренно рѣшила, — и это воля Бога моего Живого, а покамѣстъ хорошо, — потрудиться: сколько во мнѣ еще вздора, — все щекочетъ догадка «значитъ я избранная»!

Христосъ, — рядомъ, въ помощь. Какъ просто, какъ мудро.

«Можетъ это наркозъ»? — спросила и отмахнулась: если онъ сдѣлалъ меня лучше, достойнѣе и ровно счастливой, безъ депрессіи, то почему мнѣ пугаться этого, когда весь міръ принимаетъ и готовъ принимать всякіе бальзамы, сулящіе только относительное облегченіе. Но всячески толкуя и докапываясь, я однако не переставала улыбаться, — какъ зрѣлый словамъ дитяти, — знала: на все отвѣтъ будетъ, муки кончились, спасена.

Дома состряпала обѣдъ, — съ чувствомъ что не зря, — подкрѣпилась, нѣсколько разъ прочитала 15 и 16 главы отъ Іоанна: я была точно нанизана на лезвіе этихъ строфъ. Потомъ приступила къ записи, на свѣжую память, происшедшаго: рѣшила, что мое пробужденіе, значительно въ каждой мелочи, одинаково цѣнно какъ для меня, такъ и для другихъ, — безмѣрная обязанность моя все запомнить, воспроизвести, передать. Сѣла за давно уже нераскрываемый, столь опостылѣвшій въ отсѣченномъ прошломъ, дневникъ. Записала.

«Чудесное мое рожденіе, вчера 14-го Марта 193. . . Радость, свѣтъ въ сердцѣ. Не расплещу.

Шумъ бури надъ головой. Я спрятала лицо: раздавитъ. Сердце раздулось, стучало, — у предѣла; вены и артеріи ширились, тянулись. Духъ вливался въ меня; я ерзала отъ страха и опустошенія; духъ, —какъ гроза, какъ разливъ, — широкій, мощный, могущій и уничтожить; до того сильный порывъ, что благость чувствовалась единственно въ томъ, что это только часть стихіи Отца: увеличь Онъ капельку или продолжи еще, — и я взорвусь, обуглюсь. . . Кощунственно молила остановить этотъ таящій въ себѣ и уничтожающую силу, потокъ, пронести мимо, дать передохнуть. Было два приступа (второй зачаточный:

явно испугалась и не желала). Въ ушахъ шумѣлъ водопадъ; все во мнѣ раздиралось и распадалось. Время шло стороной, не задѣвая: только свистъ. И меня подняло на ноги обновленной, враждебной злу, — все растопивъ во мнѣ, сдѣлавъ иной, очистивъ отъ печали, оставивъ въ сердцѣ непоколебимый вѣсъ добра. Любовь, всеблагословеніе, счастье. Вѣру. Любовь. Духъ Истины. Утѣшитель. . . Будетъ хорошо, други. Надежда явная на побѣду. Блаженная, идіотская улыбка. На завтра то же. Главы Іоанна. Соотвѣтствуетъ. Гуляла: солнце, земля, мостъ (къ иной жизни). Міръ спасенъ и не ужасенъ. Нищій, бездомный, — не страшно; калѣка, а улыбаюсь. Мысли проповѣди людямъ, но важнѣе пить радугу, брызжущую повсюду (мысли мѣшаютъ, переводятъ въ другой планъ). А еще важнѣе, не отвлекаясь «любить», улыбаться встрѣчнымъ, дарить благо всѣму живому. Реальное счастье, впечатлѣніе осязанія — Слова, Любви. Что есть во вселенной: люди, ихъ искусства, наука, ремесла. . . должны сближать съ Духомъ Истины, расчистить путь Утѣшителю. Одинъ въ полѣ воинъ. Я вооруженная Богомъ Живымъ.

Тогда же осѣнилъ образъ, который исподтишка, грезился мнѣ всю жизнь: я ухожу въ монастырь. Но что-то для меня оставалось неяснымъ; въ связи съ этимъ, рѣшила поѣхать совѣтоваться съ людьми, которымъ имѣла причины довѣрять.

Въ метро было по зимнему тепло, людно, оживленно; я приглядывалась къ попутчикамъ, упорно возстанавливая красоту замысла, неумѣло творя, осваиваясь съ техникой евангельской любви. Смотрѣла на крашенныхъ старухъ, на усатыхъ торговокъ, на туберкулезныхъ дамъ съ рельефно выступающими бедрами, твердила, — «совсѣмъ не противно, ничѣмъ не брезгаю и вовсе не дрянь»: все и всѣ для меня тоже расщепились на двѣ половины, и я, подъ запущенной, облитой жиромъ и мясомъ внѣшностью, научилась замѣчать подлинный, священный, родственный плодъ, достойный любви, жалости и уваженія. И любить, — стало доступно. Всячески поддерживала, разогрѣвала въ себѣ чувство преданности людямъ. «Ты славная, славная. . .» — повторяла взглядывая на каждое новое лицо. Мужчинъ сторонилась, не смотрѣла: изъ боязни не то смутить, не то быть плохо понятой. Грустная мысль: ахъ, если-бъ стать двуполой, тогда любовь та же, ко всѣмъ. Но отмахнулась: значитъ такъ полнѣе,

а мнѣ только сначала трудно. Ѣзда, спѣшка, толкотня, — жизнь наша, — какъ все измѣнилось: не гадость это, не «трата времени и силъ зря», а поле для дѣятельности, мѣсто героической борьбы, непрестаннаго исповѣданія вѣры.

Разсказала о своемъ желаніи постричься въ монахини. Меня отговаривали, объяснили, что этого совсѣмъ не надо дѣлать, и во всякомъ случаѣ — преждевременно.

Я осталась.

Получила мѣсто femme de ménage. Грубая работа, а исполнять легко: безпокойный червь стяжательства не грызъ больше меня. Уже не надо было во что бы то ни стало «выбиваться въ люди», корить судьбу, скорбѣть, не къ чему спѣшить («время то уходитъ»), завидовать, терять желчь: моя «карьера», всѣ сокровища и будущность здѣсь непрестанно при мнѣ, — ощущала ежесекундно свое богатство въ груди, и была покойна.

Радость, подъ вліяніемъ испытаній, временами меркла, временами разгоралась еще ярче. О томъ какъ закаляла въ себѣ волю къ любви, какъ находила ей примѣненіе въ современныхъ условіяхъ, какъ силилась не прерывать общенія съ Духомъ Истины (творя истину, постигаешь ее во всей цѣлительности); а также о разныхъ людяхъ встрѣчавшихся мнѣ, о ихъ страстяхъ и добродѣтеляхъ, о дерзостной отвагѣ нужной, что-бъ не растерять своей духовной клади, — обо всемъ, — безъ конца бы оповѣщала. —

Она умерла. Она умерла въ понедѣльникъ 29-го Августа, на разсвѣтѣ (обычный часъ).

Мы сдѣлали все, что рекомендуется въ такихъ случаяхъ, но спасти ее не сумѣли. Два человѣка, вооруженные всѣмъ опытомъ предыдущихъ вѣковъ, — два Гулливера, — въ бронѣ стерилизованныхъ халатовъ, въ марлевыхъ маскахъ, съ засученными рукавами, гремя пилами, щипцами, и долотами, окруженные машинами и приборами, глухо роняя приказанія, въ сіяніи новоявленнаго рыцарства, угрюмые и усталые, мы долгій лѣтній день рубились за ея жизнь.

Внизу, за шкафомъ дежурныхъ сестеръ, подъ сурдинку рокоталъ T. S. F. Больную дважды клали на операціонный столъ. Мы освободили ее отъ плода. Шестимѣсячный мальчикъ, съ раскроеннымъ черепомъ лежалъ на подносѣ въ позѣ выпавшаго изъ гнѣзда птенца. Она потеряла слишкомъ много крови и ничто ея замѣнить не могло: ея сердце медленно остановилось, — его хотѣлось сжать руками, толчкомъ заставить биться, но это не помогаетъ.

Въ лѣтнее время, — Grandes Vacances, — бываетъ мало больныхъ и, естественно, еще меньше умирающихъ. Оттого должно быть, Chef de Clinique выразилъ желаніе лично сдѣлать вскрытіе: онъ писалъ научный трудъ и постоянно нуждался въ свѣжихъ органахъ. Я

тоже обѣщалъ присутствовать, — (отдать долгъ?). Но обязанности меня задержали; я опоздалъ на вскрытіе. Въ мертвецкой кромѣ этого тѣла, былъ еще одинъ трупъ, возлѣ котораго тѣснились врачи изъ другого отдѣленія.

Закинувъ вверхъ почти прекрасное лицо, она лежала вытянувшись всѣмъ своимъ хорошо сложеннымъ, смуглымъ тѣломъ, съ той свободной, античной увѣренностью — не стѣсняясь наготы — какую я наблюдалъ только у покойниковъ. Линія вскрытія прошла по серединѣ груди и живота, внутренности были вырваны и изрублены на ломти. Сторожъ въ засаленномъ халатѣ собиралъ на каменномъ столѣ куски органовъ и бросалъ ихъ во внутрь трупа. Потомъ вооружившись толстой иглою, — какой шьютъ мѣшки, — съ бичевкой, соединилъ разрѣзъ, ровными, тугими стежками, точно зашнуровалъ. Шнуровка пришла по серединѣ груди, — казалось мертвая, она одѣта въ причудливый сарафанъ, въ какой одѣвались женщины феодальныхъ вѣковъ.

Врачи за сосѣднимъ столомъ кончили работу и, направляясь къ выходу, остановились поглядѣть на трупъ женщины. Мы долго стояли, полукругомъ, молча, на вѣки, запечатлѣвая образъ этой сильной, казалось такъ щедро одаренной фигуры, ея лица, опоясаннаго гладкими, мерцающими, тугими косами, — поводили лбами, что-то нашептывая, вздыхая. Я имѣлъ причины считать этихъ людей пошляками, но эта минута была для меня урокомъ: мнѣ хотѣлось пожать всѣмъ руки, низко кланяться и благодарить.

Ея лицо было свѣтло и удовлетворено, ласково и нѣжно, казалось, она улыбается, но такого неба, тако-

го синяго неба въ улыбкѣ я еще не видалъ; лучистыя, подвижныя, теплыя, и неприступныя черты ея уводили, уносили, — куда, куда? Вдругъ, я почувствовалъ, осознал въ себѣ: зависть. Я, тщательно причесанный, сытый, въ чистой рубахѣ, завидовалъ ей, съ «тихимъ» лицомъ, на липкомъ столѣ. Это длилось мгновенiе, — ожогъ, ударъ тока, — и шло изнутри, иначе объ этомъ не стоило бы упоминать.

. . . .

Изъ всего, что довелось слышать, а такъ-же благодаря доставшейся мнѣ тетради дневника, который покойная, до извѣстнаго времени, вела съ нѣкоторой отчетливостью, сложилась эта повѣсть. По случайной неизбѣжности, она вышла хронологически послѣдовательной, расчлененной во времени, тогда какъ въ пору разсказа, все точно покоилось въ одномъ планѣ: словно то, что открылось героинѣ, — иначе не назвать, — лишь въ концѣ, вернулось и озарило своимъ свѣтомъ начало, и всѣ событiя погрузились въ субстанцiю этого сiянiя. Такъ, если смотрѣть въ микроскопъ, ядро клѣтки обрамлено океаномъ протоплазмы, независимо оттого, въ какомъ порядкѣ она, — зарождалась.

Строя ея исповѣди, я не сумѣлъ передать, какъ не могъ повторить всей окружавшей насъ, ночной тишины госпиталя; неподвижное и перемѣнчивое кружево тѣней, покой и бдѣнiе, крикъ старика и вздохъ ребенка, кашель, нагроможденiе, сдавленность, — потому что въ трехъ шагахъ: темно, — и въ то же время просторъ, перспектива убѣгающихъ коридоровъ, этажей и корпусовъ; прозрачное лицо сестры въ бѣломъ и шумъ стекающей воды въ писсуарѣ; нагроможденiе боли, затаенныхъ думъ и запаховъ: запахъ бѣлья, дезинфек-

ціи, спирта, согрѣваемой воды, уборной и смерти; страхъ и скука, сѣро-зеленые блики и первые, освобождающіе, грубые шумы разсвѣта; и я у изголовья, кровоточащей женщины съ лицомъ Богородицы; и еще что-то, — можетъ быть сплавъ всего, — что намъ не дано подсказать, но что безъ сомнѣнія самое главное.

Немногочисленные знакомые вѣроятно безъ труда узнаютъ героиню этой повѣсти; родныхъ у нея кажется нѣтъ (Павелъ Кондратьевичъ не въ счетъ), и все же, по какимъ-то неяснымъ побужденіямъ, я не рѣшился огласить ея имя; сочинить же не счелъ достойнымъ, — такъ и прошла она по книгѣ: безъ имени.

1932—1933

Парижъ

Складъ изданія:
PETROPOLIS-VERLAG A. G.
BERLIN W 15
MEINEKESTRASSE 19

Для Франціи и Бельгіи:
MAISON DU LIVRE ETRANGER
PARIS VI
9, RUE DE L'EPERON